ЯКОВ ГУРЕВИЧ

ЕЕ ЗВАЛИ МАРИЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

- Яков Гуревич
  -
  - От автора
  - ОПЕРАЦИЯ «САМОЛЕТ»
    - Полковник в отставке
    - Зарубки в памяти
    - Бывший начальник штаба
    - Тайна долины Тамашлык
    - Эхо войны
  - ЕЕ ЗВАЛИ МАРИЕЙ
    - Всегда перед глазами
    - Поиск продолжается
    - У истоков
    - Что есть любовь?
    - В небе
    - Время начало новый отсчет
    - Второе рождение
    - Тот последний бой
    - У Кургана славы
  - Иллюстрации

Яков Гуревич
ЕЕ ЗВАЛИ МАРИЕЙ
Документальная повесть

ЯКОВ ГУРЕВИЧ

ЕЕ ЗВАЛИ МАРИЕЙ

Документальна повесть

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ЛУМИНА“ КИШИНЕВ • 1975

От автора

Три десятилетия Победе. Три десятилетия мирному небу, очистившемуся от гари и сполохов пожарищ, и тучной земле, вновь рожающей по осени золотые россыпи отборного зерна, и целому поколению людей, родившемуся после парада Победы, после суда в Нюрнберге.

Подростки, только-только получившие в райкоме комсомольские билеты, уже не у отцов-матерей, а у дедушек и бабушек спрашивают, как все это было, и зачитываются книжками про войну, и выстраиваются в очереди у билетных касс, когда идет эпопея «Освобождение» — и все-таки даже мысленно не могут постичь масштабов бедствия, прошедшего когда-то через наши сердца. Пишут в школьных сочинениях, что и в мирное время есть место подвигам, — и с трудом представляют себе, как рвалась над головами шрапнель, кося людей, как гигантские воронки уродовали улицы и площади, разоряли домашние очаги, как, цепенея от ужаса, вскрывали женщины плотные жесткие конверты с похоронками.

Три десятилетия. Уже давно заросли на многострадальной земле нашей следы от траншей, окопов и ходов сообщений, и ржавый металл все реже скребется о плуг хлебороба искореженными осколками, и корявые надписи на стенах «Проверено, мин нет» давно уже выгорели на солнце, обесцветились, а то и вовсе ушли к небытие вместе с обветшавшими домишками.

А память войны все не оскудевает. Она таится в пожелтевших от времени солдатских треугольниках, горестно перечитываемых в День победы, в скупом звоне бережно хранящихся в семьях орденов и медалей, в безутешных бороздах материнских морщин. Она врывается в наше сознание обрывком тревожного сновидения, давно выцветшей фотографией, горькими заголовками старых газет.

Разве бывают на свете чудеса? Разве много лет спустя воскресают убитые, разве возвращаются без вести пропавшие? Но матери ждут. А вдруг? А если?! И едут за тридевять земель, растревоженные и обнадеженные короткими весточками красных следопытов, чтобы самим принять участие в поиске по следам некогда отгремевших сражений, чтобы поклониться праху мужа, сына, брата, взять горстку земли с неожиданно отыскавшейся могилы.

…Наверное, каждому хоть однажды довелось видеть подрагивающий луч прожектора в непроглядно темной ночи.

Помните, как, едва вспыхнув, сначала осторожно и нерешительно ощупывает он пространство вокруг себя, шарит, мечется — и вот уже длинным снопом света уверенно ложится на землю, высвечивая на ней каждый бугорок, каждый кустик, каждую ложбинку.

Не таков ли поиск, который ведут сегодня тысячи красных следопытов? С тем же первым лучом света, который даже и не свет еще вовсе, а так, неясный проблеск, гипотеза, туманное озарение ищущего. Всё еще — в предположениях, в мучительных раздумьях, всё — сплошная загадка, бередящая душу, настойчиво требующая разрешения, заставляющая лихорадочно рыться в кипах воспоминаний и рассылать сотни писем, и с замиранием сердца перебирать неожиданно добытые доказательства— пока не придет понимание, которое даст осознанное направление всему поиску. А там уже на помощь устремляется еще один яркий луч, и еще, и еще — и вот уже под лавиной фактов, неоспоримых доказательств становятся более выпуклыми, более объемными едва различимые прежде детали и подробности, предположения оборачиваются знанием, раздумья — уверенностью. Поиск, терпеливый, настойчивый, исполненный внутреннего драматизма, приобретает осязаемость.

На карте ратного подвига народа закрашивается еще одно белое пятно, наносятся уверенные и четкие координаты.

Одна успешно решенная загадка, одна прочитанная страница в книге мужества становится прологом к новым поискам. И растет, ширится, из года в год набирает высоту эта волна благодарной памяти, вовлекая в свою орбиту новые и новые тысячи, десятки тысяч пытливых, безмерно преданных этой памяти, упорных и настойчивых сердец, все неудержимее расплескиваясь по городам и весям нашей страны.

Три десятилетия. А поиски все продолжаются. Потому что рядом с любовью к родной земле неистребимо живет, всегда будет жить в наших душах благородное чувство благоговения, преклонения перед теми, кто не вернулся, кто не обнял своих любимых после Победы, кто не успел надышаться росными запахами последней военной весны.

Пусть после их смерти, пусть долгие годы спустя поднимаются на обветренных степных холмах, на развилках поросших травою грунтовых дорог, на городских площадях и сельских околицах белые обелиски.

От могилы Неизвестного солдата в Москве до бронзового изваяния воина в плащ-накидке с ребенком на руках и обнаженным мечом, рассекающим свастику, в Берлине, — среди родных просторов и в дальней стороне стоят эти памятники

павшим героям. Напоминают о давно отшумевшей грозе. Чутко стерегут тишину.

Эта документальная повесть посвящена истории одного поиска по следам кровопролитных боев на молдавской земле.

ОПЕРАЦИЯ «САМОЛЕТ»

Полковник в отставке

На слетах участников походов по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа Евгений Иванович Красовский обычно появляется в парадном мундире с полковничьими погонами и двумя рядами орденов и медалей. И когда он глуховатым, чуть надтреснутым голосом выкрикивает слова команды, кажется, будто годы оказались бессильными перед его военной выправкой, будто время пощадило этого невысокого сухощавого человека. Но потом неожиданно замечаешь пустой рукав, заткнутый за широкий золоченый пояс, встречаешься взглядом с его словно вылинявшими на ветру глазами — и иллюзии как не бывало. Есть больной уставший человек, перенесший за свои шестьдесят восемь лет столько, что достало бы на несколько жизней.

Более десяти лет Евгений Иванович возглавляет Республиканский штаб походов по местам народной славы при ЦК ЛКСМ Молдавии, ищет, увлекается и увлекает, загорается и зажигает других, а собственная боль все саднит, все не отпускает. И когда усталость уже валит с ног, а боль становится нестерпимой, подступает к самому горлу, он на несколько дней оставляет дела, ложится в постель. Лежит неподвижно, с открытыми глазами, прислушивается к шорохам в квартире. Думать нет сил. Но видения, реальные и бесплотные, сегодняшние и давно потускневшие в памяти, обступают со всех сторон, сжимают голову тисками, заставляют сердце колотиться громко и неспокойно.

…Огромный массив высокой, в рост человека, дозревающей пшеницы. Угрожающе-низкий, лязгающий гул, словно окрашивающий пшеничное море в темносвинцовый цвет, — и танки с белыми крестами на башнях, которые подминают под себя высокие тугие стебли. Ординарец Тищенко резко замахивается зажатой в руке бутылкой с горючей смесью, но бросить ее не успевает: пробитая пулеметной очередью бутылка вдруг ослепительно вспыхивает, обдает одежду, лицо, руки липким, невыносимо беспощадным пламенем.

То ли явь, то ли сон, страшный и до боли правдоподобный?

Те, кому довелось пережить войну, более щедры на воспоминания о победных годах — сорок четвертом, сорок пятом. Они охотно рассказывают о Корсунь-Шевченковском котле и Ясско-Кишиневской операции, об артиллерийской подготовке у стен Берлина и штурме рейхстага, о боях за Белград и неодолимом рывке на помощь восставшей Праге. Не

приглушенное временем чувство ликования, упоения победой будит яркие, незабываемые воспоминания.

Но самой глубокой зарубкой в нашей памяти — опаленный огнем сорок первый. Дороги, забитые обессиленными, тяжело бредущими людьми. Скорбные глаза отстающих. Безнаказанные погони фашистских «мессеров» за одинокими женщинами и детьми в обезлюдевшей степи, за машинами с красными крестами на бортах.

В первые послевоенные годы, пока еще кровоточили раны, пока тупо саднили трудно сраставшиеся рубцы, люди старались реже вспоминать о том трагическом времени. Потом оказалось, что бремя новых забот и лишений затянуло многие раны, и сквозные, и слепые, и рваные, и горечь понемногу растворилась в душах. Боль уже не была такой острой, а спокойствие, обретаемое людьми, становилось мудрее и глубже.

И вот только сейчас, с расстояния в несколько десятилетий, мы все чаще и настойчивее обращаемся к тем самым первым и самым черным дням. И обнаруживаем и в них стремительные взлеты человеческого духа, ослепительные вспышки самопожертвования, чистый пламень высокого благородства.

Лихая година в жизни народа рождала героев с той же удивительной щедростью и в таком же обилии, как и время триумфа нашего оружия.

…Целый месяцу изнурительно жаркий август сорок первого года, 37-я отдельная кавалерийская дивизия держала оборону. Она отражала натиск врага, теряла людей, переходила в частые контратаки, вновь откатывалась на прежние позиции — и все это на фронте протяженностью 60 километров, от села Еремеевка до города Градижска. Потом немцам удалось крупными силами форсировать Днепр, и дивизии пришлось с боями прорываться через кольцо окружения.

Тридцатичетырехлетний майор Красовский был в 37-й начальником оперативного отделения, командиром грамотным, отлично знающим военное дело, — за плечами у него были кавалерийская школа и военная академия имени Фрунзе.

Помимо множества сложных обязанностей, которые налагала на него штабная работа, на майоре лежала оборона командного и наблюдательного пунктов дивизии. И потому, когда командир радиовзвода вдруг закричал громко и пронзительно: — Из Яблуновки на боевые порядки 133-го полка идут танки! — Красовский первым метнулся к командиру дивизии:

— Разрешите взять автоматчиков, выдвинуться вперед!

Майору послышалось, будто старший лейтенант крикнул о трех танках. И только выдвинувшись с пятью автоматчиками

вперед от дивизионного НП, он увидел, что их, по меньшей мере, раз в десять больше. Они заполонили, казалось, всю степь, от края и до края, и двигались по ней уверенно, безнаказанно, на какие-то мгновенья останавливаясь для выстрела и вновь устремляясь вперед, навстречу беспорядочно скупой автоматно-винтовочной стрельбе и бешеному галопу обезумевших коней. На миг Красовский оторопел. Отступать было некуда и отбиваться — почти нечем.

— Раздавят!

Это закричал лежащий рядом боец? Или только послышалось?

Все, что происходило в те минуты, Красовский и сегодня, спустя тридцать с лишним лет, помнит до боли отчетливо, словно зафиксировала память тот бой на пленке и теперь вот временами прокручивает настойчиво и беспощадно.

Одного бойца он послал на НП с донесением. А с остальными стал отходить к селу — к Белоусовке. Когда танки подошли совсем близко, на расстояние броска, бойцам удалось зажечь две машины бутылками с горючей смесью. Остальные замедлили движение и термитными снарядами стали поджигать хаты Белоусовки.

Он дал команду стрелять по автоматчикам, двигавшимся за танками. В высокой пшенице их почти не было видно. Они возникали внезапно, словно из туманного марева, и так же неожиданно исчезали, сраженные очередями, или, маскируясь, отползали в сторону.

Тишина наступила неожиданно, звонкая и пугающая. Он приподнялся, чтобы немного оглядеться, успел охватить взглядом золотистую степь, по которой только что противно лязгала смерть, и пылающие в безветрии потемневшие хатки, и лежащих рядом бойцов. И вдруг — очередь…

Он не знает, сколько пролежал, уткнувшись лицом в колючую теплую землю. Минуту? Мгновение? Когда же он приоткрыл глаза и чуть приподнял тяжелую голову, угасающее сознание успело запечатлеть занесенную над головой руку Тищенко с зажатой бутылкой, и взрыв пламени, и всю его фигуру, вмиг превратившуюся в страшный ярко пылающий факел.

Потом он много раз приходил в себя и то двигался, словно в угаре, по обочине дороги, опираясь на худенькое плечо медсестры Сони, то обессиленно падал навзничь, теряя сознание.

Полтора месяца в плену. С горестным ощущением обреченности и беспомощности. С потускневшим сознанием, которое то совсем угасало, то вдруг вспыхивало, запечатлевая не дни, не события — какие-то обрывки слов, жестов, встреч.

…Запомнился немец, рослый, с автоматом, ведущий пленного. Он заметил медсестру возле истекающего кровью человека на земле, ткнул пленного стволом:

— Немен, взять! Шнель!

Соня бросилась к немцу:

— Нельзя его нести, умрет он!

Немец ударил ее ногой. Красовский через силу разжал челюсти, неслышно сказал:

— Не лезь, Соня, убьет…

Запомнился какой-то хлев. Старик укрывал его мохнатой овчиной, шерсть забивала рот, тяжелый запах мутил сознание.

Потом он каким-то чудом — откуда только силы взялись! — оказался снова на ногах, выбрался огородами в поле. Вокруг Тищенко еще обгорала земля. Какой-то немец, обшаривавший трупы, поднял голову, схватился за автомат. Но, увидев, что человек — весь забинтованный и еле стоит на ногах, осмелел, подошел вплотную, вывернул у Красовского карманы, взял деньги.

Порывом ветра приподняло бинты. Немец расширенными зрачками уставился на две шпалы в петлице, выхватил парабеллум.

— Официр?!

— Да, сволочь!

Красовский выругался и пошел прямо на немца — в надежде, что тот не сдержится, выстрелит, и разом будет покончено и с этой жуткой болью, и с этой противной, унизительной беспомощностью.

Немец отскочил в сторону, пропустил его мимо себя, тяжело ткнул кулаком в спину…

Семь суток Красовский был на грани между жизнью и смертью. Его везли на подводе, с такими же ранеными, как и он, и приходил он в себя только на мгновения, когда что-то больно бередило рану. А потом снова — забытье…

В Лубнах — госпиталь. Немецкий врач размотал повязку, грязную, всю пропитанную кровью, скользнул взглядом по плечу, безразлично произнес, ни к кому не обращаясь:

— А, капут…

Правую руку ампутировал в госпитале русский врач…

А потом почти месяц в пути, под видом гражданского, с горькой и возвышенной надеждой. Четыреста пятьдесят километров пешком, голодный, разутый и раздетый, по декабрьскому морозу — к своим!..

Он все вынес. Перешел линию фронта и добрался до своих. Долго лечился — с одной только мыслью: снова на фронт, снова в

бой! Но врачи вынесли приговор: к службе в армии не пригоден… Они были неумолимы, эти люди, сначала выходившие его, а затем обрекшие на томительное бездействие вдали от фронта, без надежды на возвращение к своим боевым побратимам. Они не просто желали ему добра, они отчетливо представляли себе предел его возможностей.

Но чтобы знать возможности человека, разве достаточно одной медицинской карты? Разве не доказано многократно и неопровержимо, что сила человеческого духа порою берет верх над физической немощью?! Ему трудно и непривычно было писать левой рукой. Первые буквы, корявые, неуклюжие, он выводил в рапортах на имя командования. Он доказывал, что еще способен воевать, и требовал отправки на фронт. И сегодня, вместе с орденскими книжками и удостоверениями к медалям, как зеницу ока, хранит Евгений Иванович узенькую полоску бумаги из школьной тетрадки, на которой уже почти не различимы, а только угадываются несколько скупых карандашных строк, коими полковник медицинской службы удостоверяет, что Красовский Евгений Иванович и без одной руки еще может служить…

Последние записи в военном билете: «Уволен в запас 28 ноября 1952 года со званием полковника запаса с правом ношения военной формы…», «9 января 1963 года Ленинским РВК г. Кишинева снят с воинского учета за достижением предельного возраста…».

И, наверное, совершенно закономерно и символично, что именно он, Красовский, человек, который не единожды глядел смерти в глаза и в котором война жива и поныне, возглавляет Республиканский штаб походов, что именно он стоит у изголовья многолетних поисков.

Несколько лет назад полковник в отставке Е. И. Красовский поднял молодежь, красных следопытов, общественность республики на проведение поиска, известного под названием «Операция „Танк“». Величественным памятником солдатскому мужеству встала после этой операции на Кургане славы у села Кошница Дубоссарского района грозная «тридцатьчетверка», четверть века спустя поднятая из глубин Днестра.

И вот теперь новый поиск — «Операция „Самолет“», им же начатый, ему во многом обязанный своим успехом…

Зарубки в памяти

Когда длительная работа, изобилующая, словно разлившаяся в половодье река, многочисленными порогами, отмелями и быстринами, подходит к успешному завершению, очень сложно подчас даже мысленно возвратиться к ее истокам. Множество ли включавшихся в дело людей тому причиной, или причудливый калейдоскоп событий, стремительных и зачастую неожиданных, невольно смещает в памяти время и подробности — кто знает. Но вот пытаешься припомнить, как все начиналось, и вдруг обнаруживаешь полное свое бессилие. Недавно еще глубокие отметины и зарубки в памяти потускнели, сгладились, все вытесни-лось достигнутым результатом.

Наверное, в этом есть и какая-то закономерность: ведь многие поиски начинаются с самых незначительных, на первый взгляд, или малозначащих деталей, а иногда и вовсе случайно. Где уж упомнить! И, видимо, не один такой поиск нужно проследить пристально, шаг за шагом, чтобы понять, какая неотразимая логика, какая строгая последовательность в действиях стоят за каждым из них.

…Этот поиск тоже начинался с малозначащей детали.

Шло партийна собрание Военно-научного общества при Кишиневском гарнизонном Доме офицеров. Заместитель председателя ВНО Красовский рассказывал об увековечении памяти воинов и партизан, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками за освобождение молдавской земли. Говорил о поисках, предпринятых в последнее время Республиканским штабом походов, о новых захоронениях, обнаруженных на территории республики. Напомнил о танках, которые уже подняты со дна Днестра или ждут еще своего часа.

А в перерыве, когда вышел в вестибюль, оказался рядом с генерал-майором в отставке К. Р. Москвиным и бывшим летчиком Героем Советского Союза И. Е. Середой, которые в свое время тоже принимали участие в освобождении Молдавии. Середа укоризненно пошутил:

— За танки тебе, Евгений Иванович, спасибо, конечно. А вот самолеты, погляжу я, не даются тебе. Плохо ищешь, видать…

— Какие самолеты? — не сразу понял Красовский.

— Ну, какие… В сорок четвертом, когда мы наземные войска поддерживали, у нас тоже без жертв не обошлось…

Красовский попытался отшутиться:

— Тоже мне, сравнил. Танк, он и сгорит — все на земле останется. А вы как падаете! Ни рожек, ни ножек…

Вроде в шутку сказал, но увидел, что лицо Середы, все в старых шрамах, стало багроветь, и сразу же пожалел о сказанном, переменил разговор.

А запомниться, видно, все же запомнилось, да и не ему одному.

Через полгода К. Р. Москвин встретился с Красовским на пленуме ЦК оборонного общества. Подошел в перерыве, отозвал в сторону, многозначительно произнес:

— Разговор тот с Середой не забыл? Нет? Вот и я помню. А вчера интересную новость узнал…

За долгие годы работы в Республиканском штабе походов и в Военно-научном обществе у Красовского выработалось безошибочное чутье на такого рода начало. Сразу же насторожился, сказал нетерпеливо:

— Ну, что там, выкладывай.

— Беседовал вчера с одним человеком. Оказалось, тоже участвовал в Ясско-Кишиневской операции. Ну, сам понимаешь, какие наши разговоры, — где часть стояла, есть ли общие знакомые, когда ранен, где находился на излечении. Разговорились о летчиках, Середу вспомнили. А потом этот человек говорит: лично видел в те дни, как наш истребитель сбили. На моих глазах, говорит, в землю врезался…

Красовский потянулся за блокнотом.

— Как его фамилия?

— Фамилия? — Москвин вдруг смущенно улыбнулся, покосился на блокнот. — Фамилию-то я и не спросил. Вот чертовщина, а?

Помолчали. Один, потирая лоб над переносицей, другой — в напряженном ожидании, с зажатым в левой руке блокнотом.

— Вспомнил! Он в Кишиневском гарнизоне работает, можно узнать…

Маршруты поиска круты и порожисты.

Они забирают человека целиком, так что нет уже для него привычных понятий «выходной», «до работы», «после работы»… Ведь поиск — это не только километры пройденных дорог, не только записи в путевых блокнотах. Это и сотни самых замысловатых головоломок, которые преподносит жизнь и которые приходится решать, это и великий труд сердца. А кроме всего прочего, это еще и искусство, потому что одного желания, даже самого яростного, здесь мало. Нужен талант, призвание. Искать могут все. Находить — немногие.

С той самой минуты, как Красовский услышал о самолете, он потерял покой. Вечером позвонил близкому своему товарищу Всеволоду Александровичу Ляховичу, тоже полковнику в

отставке, члену Республиканского штаба походов. Передал разговор с Москвиным, попросил помочь.

Вскоре в квартире Красовского раздался телефонный звонок.

— Оказывается, все проще простого! Я вместе с этим человеком в госпитале лежал. Майор в отставке Сапронов Петр Иванович.

— Ты с ним беседовал?

— Да, все правильно. Видел он, как сбитый самолет падал…

— Ну, хорошо. Попроси его зайти в ЦК комсомола, ко мне в штаб.

Евгений Иванович хорошо запомнил тот день. От предстоящей встречи в большой мере зависело, начинать ли поиск, кого к нему привлечь, в каком направлении вести.

Сапронов пришел точно в указанный час — невысокий, плотный, лет шестидесяти, с неожиданно буйной шевелюрой, изрядно тронутой сединой. Представился четко, по-военному:

— Сапронов. Весной сорок четвертого служил начфином 149-го гвардейского стрелкового полка.

Потом сел рядом, стал рассказывать — спокойно, обстоятельно, не торопясь, старательно выуживая из памяти запомнившиеся детали.

— Дело было в полдень, а может, чуть позже. Погода ясная. Год точно знаю — сорок четвертый, а вот месяц и число запамятовал. Не то апрель, не то май. В тыловых порядках полка наши офицеры раненые лежали, так я ходил им денежные аттестаты вручать. В небе тихо. Ни привычного гула самолетов — они последние дни беспрестанно висели в небе, — ни шрапнельных разрывов. Вдруг вижу — наш истребитель, «Як». Я почему на него внимание обратил — чересчур натужно тянул, вроде как подбитый. Может, летчик ранен? Еще подумалось: хорошо — в небе пустынно, фрицев нет, глядишь, и дотянет. И тут откуда ни возьмись — два «мессера»! Один сверкнул стрелой на солнце, ушел вверх, развернулся и, пронзительно звеня, зашел ястребку в хвост. Послышалась короткая трескотня пулеметов. «Як» клюнул носом, стремительно стал падать…

— Вы видели, куда упал?

Красовский прямо-таки физически ощутил в себе овладевающую всеми чувствами и помыслами беспокойную страсть поиска. Эта страсть уже властно диктовала ему потребность немедленно ехать, уточнять, наводить справки. Вдруг родные и близкие до сих пор так и не знают о последнем часе героя, ищут тот заветный клочок земли? Он лихорадочно подвинул Сапронову карту.

Петр Иванович отрешенно скользнул по карте взглядом,

надолго задумался. Легко сказать — видел… Сколько лет минуло, человека после такого перерыва не узнаешь, а тут район определи. Где и кустика не было — может, деревья шумят, вершинами небо подпирают. Где поле простиралось — может, целый поселок вырос, узнай поди. Но и память войны, — тоже не зря ведь говорится, — самая живучая память: все на свете позабудешь, а вот те места, где зубами в землю вгрызался, где друзей-товарищей хоронил, — пожизненными отметинами на сердце.

Полуприкрыв глаза, Сапронов попытался восстановить в памяти дорогу, по которой тогда направлялся в тыл, стремительные росчерки самолетов в небе, мысленно прикинул расстояния…

Перевел взгляд на карту, ткнул пальцем за село Кошницу, под Дубоссарами, — почти в то же место, где несколько лет назад был поднят затонувший в Днестре танк.

— Нет, здесь не должно быть, если весной случилось, — усомнился Красовский. — Здесь до начала Ясско-Кишиневской операции немцы стояли…

— Разве? — переспросил Сапронов. — Тогда, значит, запамятовал. Если немцы — конечно, мне бы не добраться. А я ведь добежал тогда до места падения. Как сейчас помню, почва там была болотистая, вязкая, самолет весь в нее ушел, только глина еще пузырилась.

Помню еще, вскоре летчики подъехали на машине, несколько человек, мрачные, словно прибитые свалившейся бедой. Всего несколькими фразами обменялись. Показалось, говорили о летчице…

— О женщине?

— Вроде о женщине.

— Так где же все-таки это место?

Сапронов снова взглянул на карту, указал на село Дороцкое. Еще немного подумал— и переместил палец к лощине у высоты 248,0.

…На следующий же день Красовский, Сапронов и Ляхович выехали к месту предполагаемого падения самолета.

Утро выдалось тихое, ясное. Из окон машины виднелось голубое небо. Солнце играло на ветровом стекле. Все были немного взволнованы, как это бывает в предвкушении какого-нибудь страстно ожидаемого события, какой-нибудь большой удачи.

Приехали к лощине, где размещена сейчас Дубоссарская птицефабрика. С одной стороны — подрастающий лесок.

Неподалеку — дорога из Дороцкого на Гыртоп. Прошли к опушке, — и бросилась в глаза вмятина в земле. Словно подалась когда-то земля от страшного удара.

— Здесь?

Евгений Иванович нагнулся, копнул раз, другой.

— Не должно быть, камень тут, известняк. Самолет в себя так глубоко не примет.

Пошли по лощине дальше. В одном месте, показалось, бугор словно бы вспучен, и трава на нем редкими такими кустиками. Земля рыхлая. Может, здесь?

Поиск уже властно увлек, захватил всех троих, и они до изнеможения все мерили и мерили шагами лощину, веря и надеясь, что вот еще сто метров правее, еще чуточку влево — и Сапронов припомнит, узнает то место.

— Нет, тут без приборов ничего не сделаешь, — решительно сказал, наконец, Красовский, словно ставя последнюю точку, и повернул к машине…

Через несколько дней, уже в Кишиневе, случайно встретив Середу, не сдержался, сказал:

— Разговор тот после партийного собрания помнишь? Ну, вот, ищу теперь упавший в сорок четвертом самолет и летчика. Доволен? Кстати, к тебе просьба имеется. Ты уж как специалист просвети меня насчет «Яка». Что за самолет? Чтобы наверняка знать, что искать предстоит.

— «Як»? — переспросил Середа. — Если в двух словах — хороший самолет, даже очень. Небольшой, легкий, послушный. Ну, а если тебя боевые характеристики интересуют, то, насколько помнится, вес около трех тонн, скорость 580, вооружение — двадцатимиллиметровая пушка, два пулемета. Хотя тебе эти детали ни к чему…

— Ну, отчего же, — не согласился Красовский, — они-то как раз и важны. Мало железа — приборы не возьмут…

— А-а, вот в чем дело! Об этом не тревожься, возьмут. Найди только…

У геофизиков из Молдавской экспедиции Владимира Гуртовенко и Виктора Березова уже был соответствующий опыт. Это они в свое время помогли обнаружить в Днестре затонувший танк. Красовский решил, что лучших помощников в новом поиске не найти. Ребята с радостью согласились.

Выехали снова в ту же лощину. Проверили помеченные накануне места. Магнитометр не реагировал…

Наверное, искусство поиска в том и состоит, чтобы в такие минуты не опустить руки, не дать остыть вере в успех. Все эти дни, где бы он ни находился, чем бы ни занимался, Евгений

Иванович ловил себя на одном: все помыслы замкнулись на самолете. Куда же он все-таки упал? И кто его пилотировал?

А друзья и знакомые при встречах вместо обычного приветствия уже настойчиво спрашивали:

— Ну, как самолет?..

Бывший начальник штаба

Сколько раз бывало в этой изнурительной работе по распутыванию замысловатых узелков, крепко-накрепко затянутых войной, — ощущение такое, будто дальше идти некуда, будто время так надежно схоронило все концы, так глубоко упрятало разгадку, что продолжать поиск почти бессмысленно. Что остается человеку в такой ситуации? Что помогает ему не сдаться, не пасть духом, не опустить руки? Сами следопыты грубовато называют это «голым энтузиазмом». Иными словами, энтузиазмом, который питается одной лишь силой высокого порыва, одержимостью, способностью до последней минуты ждать и надеяться.

И — удивительное дело! — где-то, в конце концов, всегда вспыхивает едва различимый тоненький лучик, обнаруживается малоприметная ниточка, которую потянешь — и снова надежды, сомнения, озарения. Поиск продолжается…

Долгими ночами, когда не шел сон, Евгений Иванович десятки раз выверял в мыслях каждый шаг предпринятого поиска. Может, больше людей привлечь? Нет, рано еще, слишком неопределенны перспективы, чтоб зря будоражить. Может, техника недостаточно совершенна? Опять же, если что-нибудь более определенное — можно и к военным из гарнизона обратиться. Архивы? Нужна хотя бы фамилия летчика…

Перебирал в памяти друзей, товарищей, просто знакомых, которые имели дело с авиацией в годы войны. Может, знают что о сбитом самолете? Может, от других слышали?

Неожиданно, словно в перекрестье прожекторных лучей, высветилась, замерцала в памяти давно позабытая фамилия. Вольский! Лет восемь-десять назад жили рядом. Не то чтобы друзья, нет, но оба ветераны, оба в отставке — значит, общие воспоминания, рассказы о том невозвратном времени, в чем-то общие интересы. В те годы Вольский тоже активно участвовал в поисках, выступал, переписывался, устанавливал связи с бывшими участниками боев. Очень много сделал по розыску материалов, связанных с подвигом Героя Советского Союза Карманова, который погиб в первый день войны в кишиневском небе.

Теперь Евгений Иванович точно вспомнил: Вольский рассказывал, что служил вместе с Кармановым. И вообще много знал о летчиках, об их суровом и несколько необычном быте, об их мужестве и самоотверженности. Постепенно, исподволь

приходили на память детали. Как-то он спросил его, насколько это сложно — отыскать следы сбитого самолета. Вольский тогда ответил: уж куда сложнее! Потом, помолчав, добавил: — Как-то в войну летчицу тут сбили — никаких следов…

А вдруг тот самый самолет?

…Он пришел к Вольскому внешне спокойный, сосредоточенный, про себя твердо решив никак не проявлять нетерпения и, тем не менее, будто предчувствуя, что именно с этой встречи и начнет раскручиваться замысловатый клубок поиска. Прямо с порога спросил:

— Помнишь, лет восемь назад ты как-то говорил о сбитой летчице?

— О летчице? — переспросил Вольский. — О какой летчице?

Немного подумал, озадаченный неожиданным вопросом, потом, видимо, вспомнил:

— Это ты о Кулькиной, что ли? А в чем дело?

Евгений Иванович потянулся за блокнотом, положил его на стол перед Вольским.

— Запиши, пожалуйста, все, что знаешь об этой летчице.

Вольский вскинул на гостя вопросительный взгляд, ожидая, что тот еще что-нибудь добавит. Гость молчал. Однако его нетерпеливое ожидание, видимо, какими-то незримыми путями передалось и Вольскому. Он решил ни о чем больше не спрашивать, надел очки в роговой оправе, раскрыл блокнот и неторопливо стал писать крупным разборчивым почерком:

«Кулькина Мария Ивановна, старший лейтенант, родом из Вольска Саратовской области, — летчик звена связи 236-й истребительной авиадивизии, после летчик 3-й эскадрильи 267-го Краснознаменного ордена Суворова Белгород-Днестровского истребительного авиаполка. Погибла во время Ясско-Кишиневской операции в районе Дубоссар (Нижние или Верхние Гояны) в сторону Григориополя. Орден Красной Звезды и медали…».

Все это он написал спокойно, уверенно, с заметной обстоятельностью, не заглядывая ни в какие бумаги, не обращаясь ни к каким материалам.

Пока он писал, Красовский внимательно разглядывал его — довольно старого, с крупной облысевшей головой, нервными, непроизвольно подрагивающими руками и тихим властным голосом. Откуда он все это знает? Почему так цепко держит в памяти не такой уж в общем-то исключительный по своей значимости эпизод войны? Ведь тридцать лет что-нибудь да значат даже для самой тренированной памяти. Ну, место рождения Кулькиной — возможно по ассоциации со своей

фамилией: Вольск — Вольский. Ну, дата гибели — может, для самого время оказалось памятным, личное что-нибудь. Но имя-отчество, награды… Мало ли друзей у каждого кануло в бездонную пучину войны! Мало ли каждый глаз закрыл, отдавая последний долг боевым товарищам, еще вчера полным сил, надежд, веры! Конечно, все они навсегда и в сердце и в памяти, но — подробности, детали, которые столь подвластны времени?

Не удержался, спросил. Ожидал, что Вольский сошлется на многочисленные воспоминания своих фронтовых товарищей — ведь долго служил в авиации. Или знает с той поры, когда сам занимался поисками погибших в небе Молдавии летчиков. А может, просто дело случая — услышал нечаянно, запомнил. И вдруг Вольский, наклонив немного голову, чтобы видеть гостя поверх очков, спокойно сказал:

— Так я ведь в этом полку начальником штаба был.

За время своей работы в Республиканском штабе походов Евгений Иванович привык уже к самому подчас неправдоподобному стечению обстоятельств, к таким неожиданностям, которых, как принято говорить, и нарочно не придумаешь. Когда в кругу друзей или знакомых заходила речь о давно прожитом и пережитом и кто-то, азартно горячась, принимался доказывать, что так не бывает, что совпадения вымышлены и объяснить их можно только чересчур разыгравшейся фантазией рассказчика, — Евгений Иванович только улыбался. Ему ли не знать, как невероятно сплетаются порой обстоятельства, какие неожиданные сюрпризы преподносит столь щедрая на выдумки действительность и какими удивительно узкими оказывались иногда фронтовые пути-дороги.

Да взять хотя бы его самого. Более тридцати лет минуло с того декабрьского дня, когда он, обмороженный, не оправившийся еще от только что перенесен-. ной операции, оборванный, в гражданском платье с чужого плеча, выбрался из окружения и предстал перед работником особого отдела 40-й армии в районе Старого Оскола. Конечно, само событие из памяти не вычеркнешь, засело крепко, прочно, на всю жизнь. Ну, а детали — обстановку в комнатушке, лицо человека, который задавал вопросы, и сами вопросы, многочисленные и подозрительно-пристрастные? Оказывается, все-все запомнил! Спустя много лет увидел вдруг в Кишиневе чем-то отдаленно похожего человека, тихо спросил:

— В особом отделе 40-й армии в сорок первом не служил?

— А ты кто? Постой, постой, кажется, припоминаю…

Такие вот встречи.

И все-таки, понимая, что сомневаться не приходится,

переспросил:

— Начальником штаба 267-го истребительного авиаполка?

— Так точно.

— Может, документы какие о Кулькиной сохранились?

— Нет, документов никаких.

Вольский несколько минут просидел молча, не шевелясь. Наконец сказал:

— Да, вот еще, если это поможет делу. Командиром эскадрильи у нее был Антипов Юрий Тихонович. И базировались мы тогда у хутора Михайловского, неподалеку от станции Затишье. Номер ее истребителя был не то 37, не то 47, точно не помню. На задания наши летчики обычно вылетали с задачей обеспечивать передвижение наземных войск, поддерживать их с воздуха. Район действий — Дубоссары и дальше на юг, до Бендер…

— Ты-то сам ездил на то место, где самолет упал?

— Не довелось. Неотложных дел было невпроворот. Сам знаешь, что такое начальник штаба. А вот как Антипов вернулся из полета — хорошо помню. Они ведь тогда вместе вылетали — он ведущим, она ведомой. Показался растерянным таким, будто даже сгорбившимся. Только и сказал: Маша погибла! Он, по-моему, и сейчас жив, до конца войны летал…

— Ну, что ж, спасибо, Владимир Прохорович. Кое-что прояснилось…

Наверное, следовало еще продолжать расспросы, попытаться выведать еще какие-то подробности, которыми никак не следует пренебрегать в таком деле, на слишком уже переполнен был Красовский ощущением первой серьезной удачи, чтобы терпеливо дожидаться окончания разговора. Ехать, скорее ехать на запомнившееся Вольскому место!

…И снова дорога. На этот раз хмурым, пасмурным днем.

С утра моросило, и похоже было, что это надолго. Солнце укрылось за плотной серой пеленой, и только в том месте, где оно безуспешно пыталось пробиться сквозь сплошную низкую облачность, было чуть светлее.

Приехали без геофизиков. Может, щупом удастся что-нибудь обнаружить. Настелили доски, чтобы трясина не засасывала, прихватили из колхозной кузницы толстый металлический прут. Медленно, шаг за шагом стали продвигаться вдоль лесной опушки, глубоко втыкая прут в мягкую, податливую почву.

В одном месте на глубине полуметра щуп наткнулся на что-то твердое. Неужели? Принесли лопаты, стали копать — лихорадочно, нетерпеливо. Нет, обычный кусок насквозь проржавленного железа.

Кто-то в сердцах выругался.

— Не тут ищем. Каменная подошва здесь…

Наверное, коллективный поиск более перспективен. Где один не усмотрит, собьется — другой увидит, что одному не под силу — несколько человек одолеют. Но вот когда не заладится, когда разгадка подолгу не дается в руки, а то и вовсе ускользает — тут лучше одному. Чтобы не ощущать на себе чьих-то сочувственных или укоризненных взглядов. Чтобы не хвататься то и дело за лопату, за щуп, не затягиваться жадно удушливым дымом сигареты, от которого потом кружится голова и тошнота подступает к горлу.

Евгений Иванович — убежденный сторонник поиска коллективного. Не потому, что сообща легче, вовсе нет. Просто ему очень хочется, чтобы как можно больше людей, особенно молодых, вовлекалось в орбиту поиска, проникалось к нему жгучей заинтересованностью, от которой рукой подать до вызревания в человеке ответственности за наследие, доставшееся от отцов-матерей, до духовного, нравственного мужания.

Но в такие вот минуты, когда не ладится, и ему трудно. Снова и снова перебирает варианты, строит новые догадки, прикидывает, сопоставляет…

Вечером Красовский пришел в редакцию газеты «Молодежь Молдавии».

Дружба с газетой у Евгения Ивановича старая и надежная. За несколько лет до этого вместе разрабатывали операцию «Голубой десант» — полуторатысячекилометровый поход на военных машинах-амфибиях по маршрутам боевых соединений, прославившихся при форсировании Днестра. Чуть позднее «Зеленый десант» вместе снаряжали — поход ветеранов и молодежи по местам сражений Первого Молдавского партизанского соединения.

И вот он снова здесь. Куда еще обращаться? Кого еще поднимать на поиск?

Редакция послала запрос в Центральный архив Министерства обороны. Есть ли какие-нибудь сведения о Марии Кулькиной? Известно ли что о командире эскадрильи капитане Юрии Антипове?

Ну, а пока надо продолжать. Ценное само по себе, сообщение Вольского не проливало тем не менее никакого дополнительного света, не давало ответа на главный вопрос — где именно, в каком месте искать. От чего же теперь оттолкнуться?

Кроме исписанных вдоль и поперек, истрепанных блокнотов, есть у Евгения Ивановича одна любопытная тетрадка. Завел он ее много лет назад, и не раз приходила она ему на выручку в самых

сложных ситуациях. Составленная по данным военкоматов, разных архивов, воспоминаниям очевидцев, тетрадка содержит достаточно полные цифровые сведения о воинах, павших в боях за освобождение молдавской земли. Номер воинской части, название населенного пункта, месяц, число, количество погибших. Может, и на этот раз тетрадь подскажет выход?

Сапронов, помнится, говорил, будто 149-й полк, в котором он служил, оборонял тогда село Погребы. Полк занимал по фронту полосу километров в пять. Где же могли быть его тылы, в которых находились раненые, и куда направлялся Сапронов в тот памятный день? Помечены ли в тетради убитые из этого полка?

Евгений Иванович долго и внимательно вчитывался в скупые строки. Постепенно убеждался: не все сходится. К примеру, село Дороцкое, упомянутое Сапроновым, — это район обороны вовсе не 149-го полка, следовательно, попасть туда он никак не мог. Зато относительно 149-го полка в тетрадке оказались такие записи: «Лунга-7/5-2» и «Кошница-5/25-1». Это означало, что у с. Лунга 5 июля погибло 2 человека, у Кошницы 25 мая — один. Вот, оказывается, где располагался 149-й!

Он показал свои заметки Сапронову.

— Наверное, самолет упал правее, километрах в пяти?

— Знаешь, я уж и сам об этом подумывал. Подвела меня память. Надо бы выехать, на месте легче сориентироваться.

Не счесть этих неожиданных поворотов на поисковых тропах, а Красовский все никак не может привыкнуть. Едва лишь забрезжит вдали чуть приметный лучик надежды — и сердце начинает неистово колотиться, сообщая всем действиям и мыслям учащенный ритм. Успеть бы, не остановиться на половине пути!

И сейчас — то же. Можно бы подготовиться к поездке, дождаться геофизиков, так нет же — скорее, скорее!..

Тайна долины Тамашлык

Там, где весной сорок четвертого были тылы 149-го полка, ныне располагается полевой стан второй тракторной бригады колхоза «Фруктовый Донбасс». В свое время многие механизаторы этой бригады активно участвовали в операции «Танк» — орудовали лопатами, помогая срывать берег реки, цепляли в воде тросы, до угрожающего рокота напрягали мощные моторы своих тракторов, силясь вырвать из метровой толщи речного ила «тридцатьчетверку» — скорбную память войны.

Увидели Евгения Ивановича, закричали весело, возбужденно:

— Что, еще один танк нашелся?

Красовский, вопреки обыкновению, веселого тона не принял. Усталость последних дней уже давала себя знать. Выждал, пока утихло оживление, после тихо сказал:

— Говорят, в войну самолет здесь где-то упал. Не слыхали?

На полевом стане воцарилась напряженная тишина. Посуровели лица, исчезли улыбки. Так всегда бывает, когда среди забот и радостей нашей повседневной жизни, в суматохе будней зловеще напомнит о себе тревожный голос войны.

— Слышали! — это выкрикнул Софрон Андреевич Золотков, бригадир. — Старики наши вспоминали, когда про войну рассказывали.

Евгений Иванович почувствовал сухость во рту, мысленно приказал себе не волноваться, мало ли что. Попробовал осторожно уточнить:

— Только вспоминали? Или, может, и место указывали?

Золотков нерешительно пожал плечами:

— Вроде указывали, только давно уж очень дело было. Позабылось все.

— А может, вспомнишь, а? — просительно сказал Красовский. — Садись в машину.

Поехали в сторону колхозной птицефермы. Добрались до лощины, которая сохранила название некогда протекавшей здесь и давно пересохшей речки Тамашлык. Золотков попросил остановить машину, показал рукой влево от дороги.

— Говорили старики, вроде там упал. Во-он, развалины домика лесника видны.

— Никакого домика лесника там не было, — перебил Сапронов.

— Был, и самолет там упал, не иначе, — увереннее возразил Золотков. — Хотя можно еще в бригаде поспрашивать, может кто лучше знает.

Вернулись снова в бригаду. Пригибаясь под нависающей над тропинкой зеленью орехов, прошли в небольшой домик-мазанку, где две старые поварихи гремели посудой. В глазах механизаторов, устремленных на Золоткова, — нетерпеливое ожидание. А тот громко спросил:

— Ребята, кто еще слышал про самолет?

Поднялся с лавки тракторист лет сорока, худощавый, невысокий, в промасленной спецовке, подошел к Красовскому.

— Не узнали, Евгений Иванович? Накул я, Семен Анисимович, не припоминаете? Когда танк из Днестра поднимали, я помогал берег срывать… Вспомнили? Значит, насчет того самолета. Я после войны с двумя дедами овец пас в тех местах, так показывали, где он упал. Конечно, сам не видел, а деды умерли давно. Не знаю, может и подзабыл…

Поехали снова. Накул указал примерно то же место, что и Золотков.

— Ну, что ж, — решительно произнес Красовский, — раз такое дело, стоит попробовать.

Возвращались в Кишинев молча. Несмотря на то, что разгадка, казалось, была совсем уже близка, а может, именно потому, что она была близка, всем сделалось как-то не по себе, тревожно. Нет, осечки не должно быть. Опыт подсказывал Красовскому, что поиск на верном пути. А все же тревожно. Может, не следовало так вот, вслух начинать разговор. Опять возникло не раз уже испытанное чувство, будто ты весь на виду и сотни пар глаз устремлены на тебя благожелательно и в то же время требовательно.

— Слушай, Евгений Иванович, — сказал вдруг Сапронов, — есть идея. Давай еще к Лямцеву обратимся, он тогда тоже здесь был. Может, что-нибудь помнит.

…Порою кажется, что время не властно над этими людьми, которые вынесли на своих плечах тяжкую ношу войны. Они приходят на встречи с комсомольцами и пионерами, приезжают на слеты участников походов по местам боевой славы, затянутые в парадные мундиры, при орденах и медалях, сохранившие строевую выправку, горячо выступают, озорно смеются — и подчас не верится, что тридцать лет назад эти же люди мерзли в окопах, и сотрясали воздух громовым «Ура», и падали в изнеможении на горькую землю. Мы как-то не замечаем их преклонного возраста, их смертельной усталости, их хворостей, и только безжалостная смерть, которая с каждым годом все чаще и чаще настигает их, жестоко прореживая и без того поределые ряды, заставляет нас пристальнее вглядываться в их лица, в их трудные судьбы.

При жизни эти люди породнены самым крепким и прочным на земле фронтовым братством. Те, кому по двадцать, по тридцать, могут годами жить на одной лестничной площадке и не знать друг друга — различные интересы, различные увлечения, заботы. Эти знают друг друга, живя подчас за тридевять земель, подолгу не встречаясь, — словно пожизненно причислены к единой и неделимой семье побратимов.

Конечно же, Красовский знал Лямцева. И как офицера в отставке, и как одного из участников освобождения Молдавии от оккупантов. Подумал сразу: если Лямцев в самом деле был тогда здесь, вполне возможно, что и подскажет что-нибудь.

Оказалось, Лямцев в отпуске. Снова наступили долгие томительные дни ожидания. Красовский то прибегал в редакцию — не пришел ли ответ на запрос, то уходил домой, погружался в свои записи, то принимался звонить по телефонам. Подсознательно чувствовал, что цель близка — только дотянуться, не сбиться с курса.

Наконец, Лямцев приехал. Красовский прибежал к нему прямо на службу, в Республиканский Совет профсоюзов. Обстоятельно и деловито поведал историю поиска. Лямцев слушал молча, спокойно. Потом тихо сказал:

— В тот день у нас как раз убило оперативного дежурного, потому и запомнилось. Я сам ходил тогда на то место, где упал самолет.

— Сможешь узнать место?

— Не знаю, надо попробовать…

В это время пришел ответ из Центрального архива Министерства обороны.

«На ваш запрос, говорилось в письме, сообщаю, что в приказе по 267 истребительному авиаполку № 055 от 31.5.44. г. значится:

„Летный состав 267 ИАП, погибший в воздушных боях 20 мая 1944 года в районе Красный молдованец, исключить из списков части и всех видов довольствия:

2. Летчик — младший лейтенант Кулькина Мария Ивановна, 1919 года рождения, урож. г. Вольск Саратовской области, сбита в воздушном бою, сгорела в самолете“.

В книге учета личного состава 267 истребительного авиаполка за 1944 г. значится:

„Командир авиаэскадрильи, капитан Антипов Юрий Тихонович — 1922 года рождения, урож. г. Кронштадт Ленинградской области. Отец Антипов Тихон проживал по адресу: г. Ленинград, Куйбышевская, 38.

По вопросу установления в настоящее время местожительства Антипова Ю. Т. обратитесь в Управление кадров ВВС“».

Стали сравнивать полученные данные с тем, что сообщил в свое время Вольский.

По поводу Антипова расхождений не было. Тут же составили текст запроса и послали в Управление кадров ВВС.

Совпало многое и в сведениях о летчице — фамилия, имя, отчество, место рождения, название части, сам факт гибели. Но кое-что не совпало. Воинское звание, например. Решили, что предпочтение следует отдать документу — младший лейтенант. Не совпала дата гибели. Вольский указал на начало или, по крайней мере, на канун Ясско-Кишиневской операции, то есть на август. А в ответе точное число — 20 мая. Да и Сапронов тоже в самом начале заявил, что дело было весной. Кто же прав? Неужели подвела Вольского память? Конечно, столько времени прошло, мог Вольский и позабыть, и вообще для памяти такие смещения чуть ли не в порядке вещей. Так что тоже нужно исходить из официального документа.

А вот Красный молдованец — этого и на карте нет!

Красовский опросил всех своих знакомых, всех, кто много лет назад воевал на этой земле. Ведь если верить документу, то название населенного пункта определяет направление поиска. Нет, никто не знал. Может, село за это время переименовали? Но тогда старое название должно сохраниться на картах военного времени.

Евгений Иванович направился в институт истории Компартии Молдавии. И сразу же нашел название на пожелтевшей, порядком истрепанной карте-двухверстке. На месте села Погребы. Того самого, где стояли в сорок четвертом тылы 149-го стрелкового полка!

Дома на собственной карте он провел прямую от хутора Михайловского, где базировался 267-й ИАП, до села Погребы. Линия прошла как раз через предполагаемое место падения самолета.

…Красовский отправился вместе с Лямцевым, заведующим отделом ЦК комсомола Молдавии Цезарем Ивановым, геофизиком Олегом Болдыревым из Академии наук МССР и его ассистентом Иваном Мигровским.

Лямцев сразу же определил в лесу место бывшего своего командного пункта. Значит, хранит в памяти. Спустились в лощину, дошли до трех колодцев. Лямцев указал примерно то же место, что и Накул с Золотковым.

Геофизики приступили к работе.

Начали с самого края лощины, чтобы постепенно продвигаться вперед. Сняли показания магнитометра, продвинулись еще на десяток-другой метров, потом еще. Жара

стояла невыносимая. Солнце застыло прямо над головой и палило немилосердно. Но прекратить работу хоть на время они уже не могли. К четырем часам выдохлись так, что продолжать не было мочи. Усталость валила с ног.

— Нет тут ничего, — подвели итог геофизики.

Евгений Иванович уже и сам, казалось, был обескуражен. Либо в расчетах ошибка, либо техника недостаточно совершенна. Превозмогая себя, решительно сказал:

— Ладно, ребятки, кончаем. Три последних замера сделайте для очистки совести — и баста.

Про себя загадал: если и эти замеры ничего не дадут, надо искать другие подходы, тут надежды мало. Спокойно, ничуть уже не волнуясь и не сопереживая, наблюдал, как ребята сделали один замер, другой. Вдруг Олег насторожился, замер, потом резко спросил:

— С часами есть кто?

— Есть, а что?

— Отойдите подальше. Вроде нащупал что-то.

Магнитометр показал 266. Попробовали левее — 268, еще левее — 270. А в самом центре окружности с диаметром в несколько метров — 290!

— Давай бур!

Был шестой час вечера. Солнце уже не жгло так нещадно, но жара не спадала. Где-то глухо урчали трактора. По дороге проносились машины, увлекая за собой высокие столбы пыли. Очень хотелось пить. Они сверлили метр за метром, все глубже и глубже.

На пятиметровой глубине бур как будто что-то взял. Извлекли столбик земли, стали внимательно разглядывать. Среди влажной, вязкой, как глина, земли обнаружили кусочки дюраля, крашеной материи и остатки дельта-древесины, которая обычно используется в конструкциях самолетов.

Теперь сомнений не оставалось. Глубоко в земле был самолет…

Евгений Иванович тяжело опустился на теплую землю, сохранившую запах сухого сена, нервно зачиркал спичками, пытаясь прикурить. Спички ломались.

Он сидел на теплой земле, закрыв глаза рукой и стараясь не думать, прислушивался к рокоту тракторов где-то вдали, к голосам людей и не слышал их. А где-то подспудно уже зрели новые заботы — вот уже и молодежь можно поднимать, и о технике для раскопок позаботиться, и воинов Кишиневского гарнизона привлечь. Опять, зажав больное сердце в кулак, бегать, звонить, писать.

И вместе с тем твердо знал: пройдет время, схлынет нервное напряжение, поутихнет немного физическая боль — и он снова встанет на поисковую тропу и пойдет по ней упрямо, настойчиво и неотвратимо. Пока жив.

Эхо войны

Если бы не было того страшного июньского рассвета и людских толп под черными тарелками репродукторов… Если бы долгих четыре года не лилась кровь, не рушились судьбы- и не сходили до срока матери в могилы, мечтая, как о последней милости, увидеть перед смертью детей своих…

Если бы не война…

Но она была, она оставила на нашей земле глубокие незаживающие шрамы. И от этого ни убежать, ни укрыться, ни спрятаться. И вот теперь мы идем по следам одного из них, чтобы вырвать из безвестности еще одно имя, еще одну человеческую судьбу. Так нужно! Не им, мертвым, не им, павшим, — нам, живым, работающим, дышащим, смеющимся, целующим детей, обнимающим своих любимых.

Потому что пока младшие хранят верность делу отцов и дедов своих, пока благоговеют перед памятью тех, кто пал в пути, подхватывают недопетые ими песни и достраивают начатые ими этажи, — до тех пор ласково будет светить солнце, и земля будет плодоносить, и глаза детей наших не будут омрачаться болью и отчаянием.

Мы едем по широкой асфальтированной дороге от Дубоссар на Григориополь: Красовский, заведующий отделом ЦК комсомола Цезарь Иванов и я.

Жадно вдыхаем пьянящий воздух июльского утра. Ветра совсем нет, на небе ни облачка, оно голубое-голубое, чистое и высокое, только кувыркается в вышине жаворонок, и оглашаются окрестности далеким гулом тракторов.

Утро цветет всеми красками лета. А нас, всех троих, одолевают мысли о самолете, о летчице, которая много лет назад ушла в свой последний полет.

Поворачиваем налево, к стану второй тракторной бригады колхоза «Фруктовый Донбасс». Трактористы завтракают за длинными дощатыми столами, готовятся к работе. Увидев Красовского, оживляются, торопливо доедают завтрак: раз приехал — значит, начнутся раскопки.

Евгений Иванович заметно нервничает.

— Технику уже послали? Экскаватор мощный? Ладно, поехали. Какое сегодня число, 20 июля? Надо запомнить…

В лощине, на том самом месте, где отозвался чуткий магнитометр, гудит могучий экскаватор, и два крепких парня опробуют мотор, ковш, рычаги. Собрались несколько десятков комсомольцев с лопатами, тоже с нетерпением поглядывают на

Красовского.

Сначала предстоит пошарить миноискателем. Если неглубоко, не надо и экскаватора.

Первым принимается за дело воин Кишиневского гарнизона младший сержант Юрий Панатов. Надевает наушники, берет в руку щуп и медленно, сантиметр за сантиметром, начинает прослушивать землю — каждый бугорок, каждую ложбинку. Почва вязкая, болотистая, неровно поросшая невысокой пахучей травой.

Говорят, если даже спустя десятилетия подняться на вертолете в небо и зависнуть над местом, где некогда упал самолет, — можно увидеть место его падения. Время затягивает самые глубокие воронки, сравнивает самые обширные рвы, но растительный покров земли даже долгие годы спустя сохраняет словно зафиксированными на фотопленке, очертания трагических рубцов.

Кто знает, может, и так. Но вертолета не было. И все мы с замиранием сердца следили за чуткими, осторожными движениями младшего сержанта. Мы уже знали — вчера он тоже работал этим щупом. В лесу за Иванчей играли мальчишки в ножички, и лезвие вдруг чиркнуло по металлу. На счастье, мальчишки оказались смышлеными, позвали взрослых. Оказалось, невзорвавшаяся бомба. Вытащить уже нельзя было, время взяло свое. Пришлось накладывать заряд и взрывать прямо в воронке.

Ему всего девятнадцать, этому парню, и он не то что войны — даже послевоенной разрухи не знает. Только в кино видел, как выбираются люди из землянок, глотают воздух жадными ртами, подставляя ветру поблекшие лица. Только в книжках читал, как впрягались в чудом уцелевший плуг, в давно забытую соху и прочерчивали мелкие кривые борозды. Но такова уж, видно, закономерность времени: война то и дело дает знать о себе и ему, врывается в сознание притаившейся, словно хищный зверь, опасностью, подстерегает, ждет одного только неверного движения.

Несколько дней назад Юрий вернулся из дому — побывал в краткосрочном отпуске на Кубани. Сколько прожил дома до призыва в армию — знал, что отец воевал, что до Берлина до самого дошел и не раз смерть стояла у него за спиной, в лицо ему заглядывала, но воспринимал все как-то рассудочно, до сердца не допускал. А тут приехал — отец, улыбаясь какой-то натужной улыбкой, показывает небольшой, сантиметра в два-три, ребристый осколок. На днях только вырезали из правой руки. Без малого через тридцать лет после ранения…

Пот крупными каплями проступает на лбу и на висках, стекает по подбородку, но Юрий не замечает ничего, весь превратился в слух. А в наушниках монотонный, тонкий-тонкий, на одной ноте, писк. Металл не выказывает себя.

— Ну, что, начинать? — кричит из кабины экскаватора Ваня Баркарь.

— Давай, — тихо, очень тихо командует Евгений Иванович.

Гул мотора становится громче, натужней, и ковш с блестящим мощным ножом тяжело, с лязгом падает впереди, подтягивается ближе, срезая и захватывая целый кубометр грунта, и вот уже весь корпус экскаватора вместе с ковшом легко разворачивается, выбрасывает землю далеко в поле. Еще один ковш, еще…

Десятки глаз напряженно вглядываются в обнажающуюся почву: вдруг покажется обломок, вдруг блеснет на солнце.

Целый слой грунта снят. Черная влажная земля, пахнущая прелью, — и больше ничего.

Касаясь самой земли, приминая жесткую траву, то и дело словно спотыкаясь, ползет щуп миноискателя. Юрия сменяет Вячеслав Шевченко, невысокий двадцатилетний солдат с крепкими загорелыми руками. И у этого парня биография — несколько скупых строчек. Школа, комсомол, армия. Мать — учительница, отец — колхозный пчеловод. Какое у таких ребят представление о своей профессии? Знакомо ли им чувство повышенной опасности, страха? Наверное, эти вопросы на языке у всех, кто нетерпеливо, выжидающе и немного тревожно наблюдает за скупыми, размеренными движениями солдата. И едва только он снова передает миноискатель своему напарнику, его тут же окружают рослые ребята из Дубоссарского профессионально-технического училища.

— Ну, какое представление о профессии? — задумчиво говорит Слава. — Нужная профессия. А какая, собственно, — ненужная? Да, опасная. Так опять же— разве она одна такая? Просто побольше осторожности требует, ясной головы и твердой руки, вот и вся наука.

Уже не дожидаясь расспросов, вдруг принимается рассказывать о своем отце. О том, как участвовал отец в Ясско-Кишиневской операции, как дважды был ранен, в ногу и в плечо, — шрамы до сих пор заметны, как вернулся с войны и поначалу все никак не мог привыкнуть к раскатистой канонаде весенней грозы.

Наверное, так почти в каждой семье, где служат сыновья в армии, стерегут тишину: в самом заветном уголке души у каждого — не воспоминание, нет, и не память — чувство

сопричастности со всем, что происходило когда-то, до них, без них, чувство высокой преемственности мыслей, взглядов, дел, поступков.

…Острый нож ковша все глубже и глубже вгрызается в мягкую, податливую землю. Растут отвалы за спиной машиниста…

Ребята разговаривают со Славой вполголоса, словно опасаясь вспугнуть эту напряженную тишь земли, монотонный гул экскаватора. А глаза невольно устремляются к котловану, который постепенно заполняется грунтовыми водами. Ковш подтягивается, поднимается над котлованом, описывая дугу, вытряхивает груду земли. Ритмично, безостановочно.

Вдруг ковш замер. И все увидели: свисает какой-то шнур. Бросились к ковшу, бережно извлекли небольшой, сантиметров в двадцать, обрывок провода, и он пошел по рукам.

Теперь принялись за работу дубоссарские комсомольцы. Медленно, осторожно стали лопатами углублять котлован. Показалось, слишком грубо. Стали рыхлить, перебирать землю руками. Извлекли обломок — сплющенный, разорванный дюраль. Потом другой, третий. На одном, величиной в ладонь, проступил прикрепленный наглухо, двумя заклепками, номер — 43.199.

Потом котлован заполнился водой, и пришлось вызывать на помощь мощные помпы. Работа замедлилась и, наконец, совсем остановилась.

На следующий день помпы снова заработали на полную мощность. Сначала откачивали воду, потом вступал в дело экскаватор. По колено в холодной воде ребята орудовали лопатами. И опять помпы.

Наконец, чуть ли не на десятиметровой глубине земля раскрыла свою тайну.

Осторожно, затаив дыхание, стали передавать из рук в руки — мотор самолета, лопасть винта, пушку со снарядом в казеннике, пулемет со вставленной лентой, шасси, радиатор, снаряды к пушке, патроны к крупнокалиберному пулемету, парашют, во многих местах обожженный, со следами крови, с заводским штампом и номером — 062250. Извлекли останки человека, которые не оставляли никаких сомнений — истребитель пилотировала женщина. Шлем, обрывки брюк, залитые кровью и обгоревшие; в кармане брюк, застегнутом английской булавкой, — носовой платок; погоны со следами одной звездочки (значит, все-таки младший лейтенант?).

Когда раскопки уже подходили к концу, в отвалах земли нашлись документы. Кандидатская карточка на имя Кулькиной Марии Ивановны, выданная в марте 1942 года политотделом

Грузинского управления ГВФ. Удостоверение, подписанное начальником штаба воинской части (полевая почта 40404) Вольским о том, что «Кулькина Мария Ивановна состоит с 10 ноября 1942 года на военной службе в Советской Армии». Орден Красной Звезды…

Что же она была за человек, младший лейтенант Мария Кулькина? Где росла и училась? В какой семье воспитывалась? Остался ли кто-нибудь из семьи в живых? Как протекал тот последний бой?

Все это пока еще оставалось тайной…

ЕЕ ЗВАЛИ МАРИЕЙ

Всегда перед глазами

Что придает поискам такой размах, такую поистине всенародную заинтересованность? Память о тех, кого давно уже нет рядом? Сохранившиеся письма, фотографии, награды? Черные печные трубы и скорбный перезвон колоколов Мемориала на месте былого селения? Рассказы очевидцев? И то, и другое, и третье. И еще — наша собственная, огнем опаленная память.

…18 июня наш выпускной класс сфотографировался — сразу после вручения аттестатов. Двадцать восемь юношей и девушек, радостных, чуть опьяненных торжественностью момента, чуть смущенных, очень разных. А в воскресенье утром пошли в местечко получать снимки — и увидели сгрудившихся под репродуктором на площади притихших людей.

…Люда Маковка, Маковочка, как мы ее ласково называли, жила с матерью и сестрой не в самом местечке, где была школа, а километрах в пяти-шести, в селе Ляды. Там, спустя две недели, впервые в жизни увидела живого полицая, молодого парня, из местных. Ввалился в хату, когда зарево отполыхало в окне, пьяно опустился на лавку, уставившись на сестер, хохотнул:

— Повезло дурам, одна поедет нах фатерлянд, на уборку урожая. Европу повидает…

Мать привстала, хотела что-то спросить, но только беззвучно зашевелила губами. Люда, младшая, побойчее, громко сказала:

— А нам твой фатерлянд ни к чему!

— Ну, ты, язык не распускай! — вмиг протрезвел полицай. — Знаю, что грамотная. Вот и поедешь. А сбежишь — сестру возьмем и хату впридачу спалим. Вот так.

И наступила для Люды на четыре года ночь. В которой громыхали на стыках теплушки и, словно скот, отбирали и сортировали на биржах труда рабочую силу, и с рассвета до поздней ночи звучало неумолимо, как удар кнута: «Шнель! Шнель!»

Изредка приходили из дому открытки. Половина строк была вымарана тушью. Зимой сорок четвертого сестра сообщила о смерти матери: пошла за водой к обмерзшему срубу, дрожащими руками потянулась к бадье — и не удержали ноги.

Когда наши войска освободили лагерь, первый солдат, которого Маковочка увидела, смерил ее недоверчивым взглядом, истощенную, сгорбившуюся, удивленно произнес:

— Никак, из России, тетенька?

Ей не было еще и двадцати…

И судьба ее оказалась не самой исключительной. Потому что,

когда эшелон уносил ее на фашистскую каторгу, в заброшенный ров за местечком падали убитые выстрелами в затылок Рафаил Миркин, Хана Гитлевич, Рая Кокина — семь наших товарищей и подруг, не успевших взяться за, оружие и не сумевших уйти.

Наш отличник Адам Попков, высокий, чуть сутуловатый, с громким голосом, неплохо знавший немецкий язык, стал у партизан связным. У него в то время все еще было впереди — донос предателя, арест, первый побег, Маутхаузен, Дахау, новый побег…

По-разному сложились судьбы оставшихся в живых. Но едва закрываю глаза, как снова вижу нашу Маковочку, какой я повстречал ее четверть века спустя, — маленькую, поседевшую, в морщинках и с каким-то навсегда застывшим выражением испуга на лице. И еще — слышу рассказ Адама Попкова, его глухой скорбный голос:

— Медик я сейчас, фельдшер. Хотя профессия эта мне раньше и во сне не снилась… То есть уважать я ее уважал, но не для себя, а вообще. А вот в Маутхаузене — ты знаешь, что это такое, слышал! — так вот там я смертей нагляделся, до сотого колена хватит. И зарок дал: жив останусь — буду лечить… Не из любви к людям, нет, этого еще не понимал, а вот — назло гадам. Вы их убиваете, сволочи, а я лечить буду, к жизни возвращать! И посмотрим, чья возьмет. А любовь к профессии и все прочее — это уже потом пришло…

И глаза у него отрешенные какие-то, у нашего Адама, и нет в них ни восторженности былой, ни радости.

Отчетливо, словно вчера только произошло, помню встречу в родной школе через четверть века после выпуска. Мы построились в двух шагах от длинной плотной шеренги наглаженных брючек и накрахмаленных передничков, и в напряженной тишине прозвучал срывающийся, но по-прежнему звонкий голос нашего бывшего комсорга Зины Грибко:

— Товарищ директор, выпускники сорок первого для встречи с выпускниками шестьдесят шестого года — построены!

А потом в настороженность зала упали тяжелые, как камни, слова переклички:

— Виктор Шостак!

— Пал в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

— Роза Метрик!

— Убита фашистами.

— Федор Мороз!

— Погиб в боях с оккупантами.

Нас было только двенадцать — явившихся на эту встречу. Остальных унесла война.

На правом фланге под школьным знаменем стоял наш Адам Попков, закончивший школу отличником, — свой главный экзамен ему выпало сдавать почти тотчас же: не на математика, как мечталось, не на учителя и не на врача — на человека.

И матери, пришедшие на торжество вручения детям аттестатов зрелости, смотрели на нас почему-то с горькой жалостливостью, — хотя мы-то ведь остались живы, — и украдкой утирали глаза кончиками платков.

А мы стояли в своей малочисленной, бедой изреженной шеренге, изрядно смущенные всеобщим вниманием, и пристально вглядывались в тех, что стояли напротив. Такими же были и мы тогда, семнадцати- и восемнадцатилетние мальчишки и девчонки, когда удирали под самое утро со школьного бала, чтобы встретить рассвет вдвоем далеко от местечка, чтобы вместе полюбоваться оживающей каплей росы на резном листе осины и вдохнуть хмельных запахов земли.

А через три дня…

Мне повезло. Я успел уйти в армию добровольцем и вернулся домой живым. Но руин, пожарищ, смертей и на мою долю досталось. И страшных воспоминаний — тоже.

О Володе Руженцеве, наводчике своем, до сих пор не могу забыть, словно вину какую перед ним чувствую. Хотя на самом деле — какая вина?

…Был я в то время командиром минометного расчета. Стояли в обороне неподалеку от Витебска. Изредка вступали в своеобразную дуэль с окопавшимся в километре противником, а больше следили за оружием, изредка, сменяя друг друга, ходили в самодельный санпропускник, оборудованный за снежным косогором. А в свободное время прятались от холода или непогоды в блиндаже, рассказывали друг другу о местах, где родились и жили до войны, делились мыслями о будущем — в начале сорок четвертого победа ни у кого уже не вызывала сомнений.

Один из зимних дней выдался на редкость ясным и солнечным. Небо было чистым, ни облачка, а к полудню и вовсе стало голубым, словно его выстирали и даже чуть подсинили. Ярко блестевший снег даже на глаз казался твердым и скрипучим.

Именно в такую погоду мы обычно и затевали артиллерийские дуэли. Но в тот день стрельбу не начинали. То ли с силами собирались, то ли просто решили дать себе небольшую передышку.

Мы перекинули через огневую позицию невесть откуда взявшуюся доску, уселись на ней рядком, всем расчетом, и завели долгий, нескончаемый разговор, который можно было позволить

себе именно во время таких вот затягивающихся перекуров. У каждого еще живы были в памяти притягательные подробности неправдоподобно далекой предвоенной жизни, о которых тянуло рассказать друзьям, да и других послушать желание было ничуть не меньше.

Что такое огневая позиция для батальонного миномета — знают сейчас, наверное, только военные. Хотя нет на свете ничего более простого и незамысловатого. Правильный круг в земле диаметром около двух метров и глубиной сантиметров до семидесяти и отходящие от круга в обе стороны щели, немного поглубже, для расчета и ящиков с минами — вот и вся огневая.

Володя Руженцев сидел третьим, посередине, рядом со мной.

Мы проговорили больше часа. За время обороны мы так насиделись в блиндаже, тесном, темном и прокопченном, что этот яркий зимний день, и светло-голубое небо, и блестящий снег вдруг показались нам необычайно праздничными, невероятно далекими от войны, от горя, от крови. И сами мы, щурясь от слепящего солнца, выглядели, наверное, оттаявшими, светлыми, размягченными в своих прохудившихся, плохо подбитых валенках и повидавших виды полушубках.

Вдруг прямо над головами, на высоте пятисот-шестисот метров, возникло совсем небольшое черное облачко, а затем раздался треск — такой, как если бы на жестяную крышу сыпанули ведро гороха. Так обычно рвалась картечь, разбрызгивая далеко в стороны тысячи небольших, с палец величиной, смертельно жалящих металлических осколков.

Никто из нас не успел ни испугаться, ни укрыться. Никто даже не пошевельнулся. Только Руженцев как-то бочком, не произнеся ни звука, неловко повалился мне в ноги. Мне еще не было девятнадцати, в таком возрасте не принято прощать людских слабостей. Я пренебрежительно пнул наводчика ногой и, скрывая под нарочитой бравадой собственный испуг, насмешливо сказал:

— Чего развалился, как у тещи на печи? Поднимайся давай!

Я ткнул его совсем легонько. Володя опрокинулся на спину. И все мы увидели, что он мертв. Картечина ударила прямо в темя.

Мы похоронили его через несколько часов, выдолбив узенький окопчик в насквозь промерзлой земле.

Потом я все собирался написать родителям. И не написал. В девятнадцать трудно писать такие письма. Тем более, утешал я себя, что из штаба, наверное, уже сообщили, на то и штаб. Хотя отлично сознавал, что в штабе-то как раз и могли позабыть.

Потом началось наступление, и уже было не до писем (горькое оправдание!). Потом забылся адрес, осталось только в

памяти, что был Володя родом из Новосибирска. А потом и место, где все это произошло, забылось.

Сколько и до этого и после прошло совсем рядом смертей — почему же та невольная вина не забывается, не тускнеет с годами? А может, прислали родным из штаба аккуратный жесткий конверт? И, значит, нет ее, вины?..

Но я уже столько нагляделся, столько наслышался горьких вестей после войны. И стоят, стоят перед глазами старики, которые двадцать, тридцать лет все ждут и ждут. Не сына уже, нет, — хоть весточки какой о последнем его часе, слова теплого о том клочке земли, который приютил его навсегда.

Значит, надо искать…

Поиск продолжается

У нас были все основания считать результаты предпринятого поиска успешными. Мы извлекли из земли, казалось бы, навечно схороненные в ней обломки истребителя, прочертившего некогда последнюю молнию в небе Молдавии, — освященную временем реликвию минувшей войны. Мы вернули из безвестия, установили имя летчицы, которое сохранилось в памяти очень не многих людей. Мы сделали для десятков, сотен юношей и девушек Великую Отечественную войну глубоко осязаемым, личным переживанием — таково свойство обретенного чувства причастности к героическим страницам ратной летописи народа.

И все же этого было мало. Мало — извлеченных из земли обломков самолета. Мало — одного только имени летчицы. Ее нужно было увидеть, разглядеть воочию, до мельчайших черточек характера. Ее нужно было узнать в деле, уплотнив, спрессовав до единого мгновения подвига почти три прошедших по земле десятилетия, узнать и — полюбить той же невысказанной любовью, что и не вернувшегося с кровавой битвы отца, что и выплакавшую все глаза старую мать. Узнать — и показать людям.

Поиск надо было продолжать.

Вернувшись в Кишинев, я поспешил к Владимиру Прохоровичу Вольскому, на улицу Тихую, 51-а.

Кажется, совсем недавно прочитал я в блокноте Красовского запись, сделанную этим человеком, услышал удивительный по стечению обстоятельств рассказ Евгения Ивановича об их беседе — и вот теперь мне первому предстоит уведомить бывшего начальника штаба полка, что его предположения подтвердились, что первый этап поиска успешно завершен. Каков он, человек, который некогда знал Марию Кулькину в ратном деле, был связан с нею самыми прочными на земле узами фронтового братства?

Вольский встретил меня у калитки, тучноватый, немногословный и неулыбчивый. Проводил на веранду, вынес две табуретки, сдвинул на край стола груду яблок, видно, только что собранных в саду, пригласил сесть. Я сказал, что вместе с Красовским был в эти дни там, где упал самолет, что это действительно самолет Марии Кулькиной. Он не выразил своих чувств, по крайней мере, я этого не заметил. Ни удивления, ни радости. Только сказал:

— Я ведь говорил Красовскому — Кулькиной это самолет.

Я спросил:

— Владимир Прохорович, — а что, у вас память такая или по другой какой причине Мария Кулькина так отчетливо

запомнилась?

Он впервые усмехнулся:

— Память как память, не жалуюсь. Как у всякого начальника штаба. Хотите, назову вам сейчас всех офицеров полка и демографические данные на них — год и место рождения, где летную школу кончал, время прибытия в полк.

И, словно выученное наизусть стихотворение, высыпал на меня целый ворох имен-отчеств, фамилий, воинских званий, дат, населенных пунктов. Исподлобья проследил произведенное впечатление, сказал помягче:

— Кулькина Батайскую летную школу кончала, точно знаю. А почему запомнилась — одна летчица в полку. Понимаешь, что это такое? Притом не просто летчица — женщина! У нас ведь еще женщины были, из обслуживающего персонала, а она… самая, ну, яркая, что ли, окрыленная какая-то. На войне, знаешь, к таким всегда люди жмутся, от них и в себе избыток сил ощущаешь…

Полуприкрыв глаза, посидел немного молча, размышляя или, может, вспоминая, и произнес мечтательно, совсем на себя не похоже:

— Красивая была. Хорошо сложена, смугловатая, крепенькая. В общем, запомнилась… Сначала она в дивизии была, на связи между полками, потом мы упросили командира дивизии полковника Кудряшова направить ее к нам в полк. Как это зачем? А затем, что ребят это подтягивает лучше самого строгого старшины. Комдив согласился. Стали мы ее переучивать на истребителя. Оказалось, схватывает все на лету. Если бы не тот трагический бой… Она ведь только-только начинала…

Мне уже страстно хочется узнать возможно больше не только о Марии, но и о местах, где она обретала крылья, о людях, которые летали рядом с ней или снаряжали ее в полет, или терпеливо ждали на земле ее возвращения. Мне хочется постичь атмосферу той предпоследней военной весны… Я интересуюсь, как сложилась судьба самого Вольского.

— А что судьба?.. Обыкновенная, жив вот. Служить начал в двадцать седьмом. — Небольшая пауза, уточнение: —9 апреля. Уволился в сорок шестом по болезни в чине подполковника. Войну начинал в Кишиневе, здесь и посадку сделал, когда в отставку вышел…

— Владимир Прохорович, может, фотографии тех военных лет сохранились? Может, и Мария есть на них?

— Нет, вряд ли, искал уже для Красовского.

Тем не менее, идет в комнаты, долго ищет там, и в раскрытую дверь мне слышно, как он справляется у жены, куда подевался альбом. Потом выходит с узенькой карточкой в руке.

— Тетрадь у меня была толстая, каждый день нашего полка по ней проследить можно было. Унес кто-то. А фотографий нет. Вот эту только нашел.

И протягивает мне тронутый временем снимок, на обороте которого четким мелким почерком написано: «16.8.44 г. Летный состав 267 ИАП 236 ИАД. Аэродром (полевой) ст. Затишье. Командир полка — подполковник Аритов И. И., начальник штаба полка — подполковник Вольский В. П.»

— Где же вы тут? — спрашиваю я, до рези в глазах вглядываясь в изображенную на снимке группу военных.

— Да вот же, в первом ряду сидим. Второй слева я, третий Аритов, А рядом с ним капитан Антипов.

Марии Кулькиной на этом снимке нет. Я указываю на подпись, говорю Вольскому:

— Видите, Марии в середине августа уже не было. А вы утверждали, что в августе погибла она…

— Так и есть, 6 августе!

— Но мы уже из архива ответ получили. Там ясно сказано: 20 мая. И ссылка на ваш собственный приказ по штабу 267 ИАП…

Владимир Прохорович сердито пожимает плечами. Бывают, оказывается, такие провалы, смещения даже в самой совершенной, отшлифованной памяти.

Вечером, вернувшись домой, я достаю карту и долго сижу над ней, разглядывая маленький кружочек на правом берегу Волги и начинающийся почти рядом с кружочком голубоватый разлив Волгоградского моря. Вольск. Город, в котором родилась Мария. Мысленно пробую представить себе улицы города, набережную, небо над ней и — Волгу, широкую и величавую.

Вспоминается, что впервые услышал я название этого городка, когда стало известно о ночном таране Виктора Талалихина — он был родом из Вольска. Потом оказалось, что там же жил один из героев-панфиловцев, политрук Василий Клочков, и еще много отважных соколов, в годину бедствий народных прикрывших собой родное небо и родную землю. Кажется, будто могучая Волга, словно живой водой окропляя, одаряла родившихся на ней богатырской силой, непокорством, окрыленностью мужества.

Вот теперь — и Мария Кулькина.

Далеко от Кишинева этот город на Волге. Так далеко, что только на третий день междугородняя дает мне возможность поговорить по телефону с секретарем горкома партии. Подробно рассказываю о нашем поиске, о результатах, прошу узнать что-нибудь о родных и близких Марии.

А накануне пришло письмо из Тбилисского аэропорта. «С

большим волнением, — писала библиотекарь В. В. Белоусова, — прочитали мы о поисках места гибели Марии Ивановны Кулькиной.

Ее бывшие подруги и товарищи Мария Степановна Курсова, Мария Николаевна Вашакидзе, Римма Иосифовна Джоджуа, Тамара Давидовна Малашвили, Николай Арсеньевич Томадзе и многие, многие другие, ныне работающие на разных должностях в Тбилисском аэропорту, хорошо помнят славную летчицу по совместной учебе в Батайском летном училище, по годам ее работы с мужем Сергеем Псаревым (погиб на штурмовике „Ил-2“) в Тбилиси, бережно хранят ее фотографии…»

Получено сообщение и из Управления кадров ВВС: Юрий Тихонович Антипов, подполковник запаса, проживает в г. Мытищи Московской области.

Римма Иосифовна Джоджуа, которая училась вместе с Марией в Батайске, прислала интересные снимки. На одном из них — занятия в классе: Мария, совсем еще девочка, внимательно слушает преподавателя. На другом — большая группа девушек, коротко, по моде подстриженных, в летной форме; подпись под снимком — «Выпуск пилотов, 1939 г.» Первая в мире женская эскадрилья. Мария — в третьем ряду, с мягкими чертами лица, необыкновенно теплая, женственная.

Сегодня, оглядываясь на те первые дни поиска, когда одно за другим мы получили так много ценных сообщений о погибшей летчице от людей, живущих в самых отдаленных уголках страны, невольно задумываешься: нет, обжигающая память войны — не громкая фраза, не красивые слова и не состояние одного человека. Слишком глубоко распахала война судьбы целого народа, так глубоко, что и три десятилетия спустя все так же пахнут поля для нас гарью, а сохранившиеся в лесах воронки отзываются давней болью старых ран. И садятся люди за письма, чтобы поделиться, рассказать, как все было.

Для кого-то на Западе война уже отодвинулась так далеко, что от нее пытаются отмахнуться, забыть, как кошмарный сон. Кому-то сегодня просто невыгодно бередить воспоминания и вызывать нежелательные ассоциации. Помните фильм Григория Чухрая — лицо двадцатилетнего молодого человека при упоминании имени Гитлера остается непроницаемо-бесстрастным, это имя ему ни о чем не говорит! Помните, сколько их не знают, что такое «Сталинград», никогда о нем не слышали!

Но мы — мы не забыли ничего, не имеем на то права! Ведь это мы и наши родители назывались беженцами — на собственной земле! — и возвращались к пепелищам, на которых сиротливо торчали печные трубы. Ведь это нас призвало суровое

время на защиту своего дома, своей земли. Многие сложили головы — время было беспощадным. Но те, что вернулись живыми, те, что рядом с уцелевшим костюмом повесили в шкафах свои обтрепанные, во многих местах обгоревшие и побитые осколками старые шинели, до последнего своего часа будут ощущать внутреннюю потребность поведать людям о друзьях-товарищах, на долю которых выпало испить смертную чашу.

Из Вольского горкома партии позвонили через несколько дней: в поиск вовлечены сотни людей, от старожилов и комсомольцев до работников милиции и городского ЗАГСа.

Узнали: в городе проживает некая тетя Паша, у которой перед войной жили Кулькины. Она указала на сестру Марии — Лидия Ивановна Кулькина живет в Энгельсе Саратовской области, работает учительницей в 20-й средней школе.

Отсылаю два письма — в Энгельс, Лидии Ивановне, и в Мытищи, Антипову, прошу поделиться воспоминаниями о Марии, как можно подробнее рассказать о семье, в которой она росла, о ее детстве и юности, о школе, о службе, о последнем бое.

И вот эти воспоминания, достаточно обстоятельные, пронизанные горечью утраты и трепетной любовью к сестре и фронтовой подруге, — на моем письменном столе. Потом мне довелось встретиться с ними — с учительницей немецкого языка Лидией Ивановной Кулькиной и инженером одного из мытищинских предприятий Юрием Тихоновичем Антиповым, познакомиться с письмами Марии, увидеть ее фотографии. И все ярче, все отчетливее стал вырисовываться облик этой молодой женщины, такой, какой она была и какой осталась в памяти знавших ее — яркой, неугомонной, порывистой, целеустремленной.

А встречи с людьми, знавшими Марию: с Риммой Иосифовной Джоджуа, подругой по учебе в летной школе, с Зоей Марковной Талыгиной-Говор, соседкой по квартире в Тбилиси, и другими — еще более укрепили это впечатление…

У истоков

На самой ранней фотографии Марии лет тринадцать-четырнадцать. Она внимательно смотрит с пожелтевшего от времени снимка: у нее оттопыренные, как у подростка, уши, курносый нос, тонкие, чуть изогнутые брови, полные, слегка припухлые губы. Короткая стрижка, челка, закрывающая ровно половину лба. Все по-детски незавершенное, едва обозначенное. Но руки — большие, рабочие руки, выдающие силу и основательность. И вся она, невысокая, крепкая, как будто излучает какую-то гордую независимость и спокойствие.

Одета в длинную, не по росту, кофту поверх большого платья с отложным воротничком — верный признак ограниченного достатка в семье.

Я вглядываюсь в фотографию и пробую представить ее себе в жизни, — порывистую, неуступчивую, доверчивую. Однако многое, чувствуется, еще спрятано в глубине ее незаурядной натуры, многое еще не проклюнулось, не пустило ростков.

Вам никогда не доводилось бывать у истоков Волги? Там, где, начинаясь еле заметным ручейком, она чуть слышно журчит меж берез и елей, мерцает над причудливой мозаикой узкого каменистого ложа?

Я вспоминаю те истоки, тот долгий путь по необъятным просторам, когда думаю о Марии, родившейся на этой большой русской реке и ставшей чем-то сродни ей, ее широкому, раздольному течению, ее вольному и сильному характеру.

Когда в семье не один ребенок, не двое — целых пятеро, всякое бывает. Одного приласкают, другого пожурят, третьего накажут. Машу любили. Может, даже больше, чем остальных, хотя какая мать, какой отец признаются в этом! Но, как говорится, день на день не приходится. На резкий тон Маша как-то мгновенно замыкалась, словно бы съеживалась, и уже ни угрозами, ни лаской не преодолеть было вдруг возникшего барьера. Только брови ее ближе к переносице сойдутся, да губы потеряют детскую припухлость, вытянутся тонко, да с лица сбежит румянец, и станет оно упрямым и напряженным. И мать и отец упрямство вообще считали отличительным свойством Машиной натуры. Хотя, добавлял отец, упрямство тоже разное бывает.

Совсем еще крохой попала в семью Галочка — дочурка старшей сестры Зины, которая жила с мужем в Уральске. У обоих частые командировки — согласились отдать девочку в Вольск.

У деда и бабки отношение известное — в трудовых семьях не

принято нежность свою на людях выказывать. А дети привязались, словно только и свету в окошке, что маленькая озорная хохотушка.

А тут тридцать третий год. Неурожай, голод.

Настали тяжкие дни и в семье Кулькиных. Иван Алексеевич, механик, приходил поздно вечером усталый, молчаливый, старательно мыл большие пропахшие мазутом и бензином узловатые руки, подолгу сидел за столом, опершись на руки широким выскобленным подбородком.

За ужином хлеба не ел вовсе, крохотный ломтик неуклюже прятал в карман. А чуть погодя, заслышав приглушенные всхлипывания внучки, совал ей в рот темные жесткие кусочки.

От детей разве утаишь что! Тоже стали оставлять свой хлеб Галочке.

Отец таял прямо на глазах. Порой у него уже не хватало сил вымыть после работы руки, и, дойдя до стола в углу, он грузно опускался на обшарпанный табурет, весь налитый усталостью. Дети тоже еле ходили.

Наконец, мать, женщина суровая и решительная, не выдержала.

— Завтра отправим Галочку к Зине, в Уральск.

Увидев испуганные глаза детей, нетерпеливо добавила:

— На время, потом назад возьмем. А сейчас там полегче будет.

Конечно, в словах матери был резон. И девочке легче, и им самим. Отец хоть немного оправится, в себя придет.

Если бы в детстве можно было жить, руководствуясь одними доводами рассудка! Маша тут же возразила:

— Так ведь наша она, мама. Наша! А голод не век же будет, перенесем. Мне вот и есть не хочется…

Мать осталась непреклонной. Тревожная ответственность за судьбу семьи, которую испокон веков сама природа возложила на женщину, диктовала единственно целесообразный выход — отправить девочку к родителям.

Везти Галочку в Уральск выпало как раз Маше — то ли свободнее других была, то ли крепче характером и потому надежнее. Мать собрала дочку в дорогу, проводила к поезду. Отхода не дождалась, самой нелегко было. А Маша с Галочкой на руках, между тем, вышла из вагона и направилась к отцу, прямо на работу.

Вечером явились домой втроем. И мать, вместо того, чтобы обругать Машу, сама вдруг облегченно вздохнула, словно гора с плеч свалилась…

После школы встал вопрос: куда дальше? Рано или поздно

этот вопрос возникает перед каждым, у каждого вызывает мучительные раздумья. Последовать доводам родителей, как обычно логичным и неотразимым, — чтобы затем, на каком-то крутом повороте вылетев из седла, сказать себе и окружающим с легкой укоризной: вот ведь, не хотелось огорчать?

Или прислушаться к голосу призвания, сначала робко заявляющего о себе, а потом властно забирающего целиком, так что уже не вырваться, не освободиться, и набивать на этом пути шишки — падать и подниматься, и все же идти и идти, не отступая и не сворачивая? Или отдаться на волю случая и неторопливо плыть по неглубокому, спокойному фарватеру, избегая бурных порогов и крутых перекатов?

В машин выбор строго вмешалась мать. Неграмотная, жертвенно любящая своих детей, но настойчивая и крутая характером, она с отчаянной решимостью ухватилась за единственный, по ее мнению, достойный путь для дочери — стать врачом. Это был не случайный каприз, не прихоть привыкшей к послушанию женщины, нет, это было осознанное, долгими трудными годами жизни- выстраданное выражение самой светлой мечты. Доктор!

Мария не стала возражать, поступила в Саратовский медицинский институт. Не уступила матери — просто не была готова противопоставить ее доводам что-то свое, выношенное.

Она хорошо занималась. Она вообще не умела делать что-то вполсилы, как-нибудь. Пожалуй, она стала бы неплохим врачом. Если бы — не эпоха…

Наверное, возьмись социологи за серьезное исследование о влиянии эпохи на судьбы людей, они пришли бы к удивительным выводам. Они увидели бы, что эпоха формирует наши влечения и интересы, кристаллизует призвание с не меньшей интенсивностью, чем мы сами формируем облик эпохи. И это ее диктату обязаны мы то тягой к биологии, то стремлением к ядерным исследованиям, то приверженностью к путешествиям.

Учеба Марии в медицинском совпала по времени с увлечением авиацией. Вступавшие в жизнь бредили Чкаловым. С первых страниц газет, с цветных журнальных обложек, с экранов и афишных тумб звучало требовательно и призывно: «Комсомолец — за штурвал самолета!», «Ты записался в аэроклуб?»

Мария стала посещать занятия в Саратовском аэроклубе.

Собственно, что такое призвание? Исключительная способность к определенному делу? Врожденный талант в какой-то области?

Да можно ли вообще дать призванию какое-то исчерпывающее, однозначное определение, если это

одновременно и зов, и приговор судьбы — сама жизнь? Попробуйте отнять его, ограничить, не дать выхода — и нет человека, нет духовного богатства, нет высокой окрыленности, останется просто существование.

Для Марии призванием стало небо. И с медициной было покончено, раз и навсегда.

Мария уехала в Батайск, в летную школу. Уехала, ни слова не сказав матери. Только отцу призналась в своем неодолимом влечении к полетам, к небу.

С вокзала в тот вечер Иван Алексеевич возвратился необыкновенно притихший. Не в силах сдержать вдруг нахлынувшую жалость к этой совсем уже постаревшей женщине, с которой прожил целую жизнь и мечты которой так вот нелепо рухнули, он в то же время невольно опасался ее слепой ярости.

Стол не накрывали, ожидали, пока соберутся все.

Человеку свойственны предчувствия. Мать то и дело заговаривала о Маше. Башмаки надо бы ей новые купить, старые совсем прохудились… Галочка вон к ней одной тянется, остальных будто не замечает… Иван Алексеевич поддакивал вяло, больше отмалчивался. А мать все говорила, говорила. В последнее время Маша вроде перестала о самолетах твердить — не надумала ли чего, помыслить даже боязно. Потом беспокойно и как-то беспомощно стала поглядывать на Ивана Алексеевича. Наконец он не выдержал:

— Ладно, собирай, мать, на стол, Мария не придет. Прилетит года через три. На самолете…

Мать поняла, грохнулась оземь, как подкошенная…

Мария прилетела не через три года — на следующее лето. Невысокая, подтянутая, в курсантской форме.

Сохранилась фотография той поры. Матово-смуглое лицо и чуть скошенные к переносице разрезы больших глаз. Короткая, но более пышная прическа, уже без челки. Только взгляд другой — спокойный, сосредоточенный взгляд человека, уверенно пробивающего в жизни собственную тропинку.

Смотрю на фотографию и воображение вновь, в который уже раз, рисует Волгу, где она родилась, росла, мужала нравственно и духовно, — уже не тот ручеек среди лесов и болот, еле слышно пробивающийся из земли и осторожно пробующий свой голос, а настоящая река, которая властно раздвигает берега и в полых водах которой бегут, бегут, бегут неутомимые пароходы.

Упрямо сжаты губы. Не осознанная еще до конца сила таится за этим внешним спокойствием и невозмутимостью.

Смотрю на фотографию, зная уже многое из того, что предстоит ей, что ожидает впереди. Знаю о ее первой большой

любви, о горечи утраты и о страшном июньском рассвете, который положит начало новому отсчету времени. Все это будет потом, все это войдет в ее жизнь, станет судьбой.

А пока — только ненасытная жажда неба, светло-голубого, бездонного, волнующего воображение…

Что есть любовь?

В юности частей глядят в небо. Не только живущие ощущением полетов, не только мечтающие о могучих крыльях. Когда на земле отцветают вишни и майский ветер кружит в воздухе крохотные белые лепестки, а сам воздух, кажется, напоен хмельным весенним ароматом, — взгляд человека невольно устремляется в небо, с его манящей бездонностью, с его простором и загадочной голубизной.

У каждого — свое любимое небо. У одних — чуть подсиненная белизна и лениво проплывающие по ней мелкие, лохматые облачка. У других — ярко-оранжевый закат и блики его, словно кругами по воде, разбегающиеся по темнеющей выси. У третьих — бескрайняя ширь с причудливо меняющимися цветами, которые, кажется, пульсируют, дышат, живут по каким-то неведомым нам законам.

У каждого свое небо. И у каждого — своя любовь, неповторимая, как неповторим и своеобразен сам человек.

Мария полюбила в Батайской летной школе. Полюбила первой, самой большой и безоглядной любовью, когда ни разница в возрасте, ни крутость характеров, ни человеческие слабости — ничто не способно поколебать, ослабить силу чувства, сбить сердце с единого ритма. Полюбила нежно, робко, трогательно, как любят только в семнадцать, и в то же время по-взрослому осознанно, не таясь, у всей школы на виду. Она была значительно моложе Сергея Псарева, летчика высшего класса, инструктора школы; в неожиданно вспыхнувшем чувстве словно бы слились воедино девичья мечта о большом, сильном человеке, преклонение перед самобытностью натуры и жажда собственного роста, взрослости. В Сергее и впрямь воплотились для Маши те качества человека и летчика, которые выносила она в своем воображении, выбирая дорогу в небо.

Самого Сергея любовь тоже преобразила. Он словно никак не мог поверить в свалившееся на него вдруг безоглядное трепетное чувство. Прибавилось ответственности — это сделало его заботливым и предупредительным. А еще он неожиданно открыл в себе такой родник незамутненной нежности по отношению к любимой, о котором и сам не подозревал. Все казалось, что эта юная девушка, совсем еще девочка, с чуть скошенными к переносице разрезами озорных глаз, вдруг опомнится, поймет, что он недостоин ее такого светлого, всепоглощающего чувства, что есть вокруг люди и лучше, и ярче его — и тогда сразу станет на сердце зябко, пусто и одиноко.

Наверное, таково неизменное свойство истинной любви: обогащая другого своим чувством, своеобразием своего духовного мира, мы все считаем, что слишком мало даем, что другие куда богаче, интереснее, привлекательнее нас.

Едва закончив занятия в школе, Мария мчалась на аэродром, где проходили полеты, чтобы скорее увидеть его в небе, ощутить свою причастность к его делу, к нему самому, большому, сильному, уверенному в себе. А вечерами, рассудком понимая, как устал он после целого дня трудной, изматывающей работы, не могла перебороть себя, ждала, пока поест, и тащила его за город, в поля, дышащие вечерней прохладой, чтобы там умиротворенно вдыхать запахи отдыхающей земли и слушать, слушать, слушать. И каждой клеточкой тела ощущать нависшее над головой низкое небо с медленно высыпающими звездами, пряный аромат сена в стогах, чернеющих неподалеку, и пронзительно-колючий холодок в груди, от которого и зябко и горячо на сердце.

Домой Мария ничего не сообщила. Приехала на летние каникулы одна — Сергей отпуска не получил. Бегала на Волгу, ходила с сестрой и друзьями в Липки, на традиционное место встреч в довоенном Саратове, много читала.

Иван Алексеевич, как всегда занятый, но внимательно-приметливый, как-то сказал:

— Не замечаешь, мать, вроде изменилась Мария?

И выразительно насупил брови, такие же неширокие, чуть изогнутые, как у дочери. Он и лицом мало отличался от нее — был так же смугл, лобаст, даже краснел так же.

— Ну, вот еще, чего выдумал, — испуганно возразила мать. — Сказала бы, небось. Да и дите еще совсем, восемнадцати нет…

Однако разговора не забыла. В тот же день, только уселись за стол, заговорила наставительно:

— Бесятся девки ныне, ох, бесятся. Дети форменные, ни тебе сготовить, ни постирушку сделать, ни печку побелить, а туды ж, взамуж, ровно на пожар. А поглядит-ко, самих еще нянчить и нянчить.

У Марии румянец во всю щеку. Сказала, давясь нарочитым смехом:

— Ну, это вы, мама, зря. Сейчас не по тому в жены берут, как готовить умеют. Вот хоть бы и я, чем не жена мужу? Приехали б вдвоем — небось, обрадовались бы…

Отец запальчиво кинул ложку, выкрикнул зло, на себя не похоже:

— Ты это брось, молода еще трепать языком. Послали учиться — учись, а дурь из головы выкинь!

Так и уехала на занятия, ничего не сказав. Не то, чтоб боялась — не хотелось стариков огорчать. Пусть уж немного погодя узнают.

Потом родился Игорек, времени стало в обрез. Судили-рядили, без матери не обойтись. Дали телеграмму. О женитьбе опять умолчали.

Во всей довоенной жизни Марии это было, пожалуй, самое трагикомическое событие. Взрослые люди, пользующиеся искренним уважением друзей и товарищей, выполняющие уже серьезные и ответственные задания, они тем не менее с замиранием сердца ждали той минуты, когда придется держать ответ перед обиженной и рассерженной матерью.

Сергей был на полетах, Мария дома — с ребенком. Послали на вокзал Лешу Сушко, самого близкого друга. Тот матери в лицо не знал, запасся фотографией из машиного альбома. Долго бродил по вагонам, внимательно разглядывая лица пожилых женщин. Наконец признал, представился машиным другом, немало удивив и растревожив мать. Только и смогла произнести:

— Что с Машей? Жива ли?

— Да жива Маша, что ей сделается! Только ругать ее не надо.

— Как это ругать, за что?

Он неумело пошутил:

— Молодых всегда найдется, за что поругать…

А продолжать не стал, тоже побоялся. Так и довез до самой квартиры.

Мария увидела их в окно. Выбежала, кинулась на шею:

— Мама, простите, если можете, пожалуйста, простите!

Мать заплакала. От радости. Жива дочка — и слава богу, чего прощать-то!

Квартира была двухкомнатная, с темными шторами на окнах. Мария посадила мать спиной к детской кроватке. Завела какой-то торопливый разговор. Как отец? Лида где, не болеет ли? И вдруг детские всхлипывания. Мать обернулась, ни о чем еще не догадываясь, спросила:

— У людей живешь? Почему не в общежитии?

Мария, наконец, решилась. Сказала твердо, с прежней непреклонностью:

— Мой это ребенок, мама. Замужем я уже больше года.

Мать заплакала, горько, по-бабьи, не скрывая слез. От жалости к дочери, которую вот ведь обманул кто-то, от собственной обиды.

А Лешка Сушко прибежал на летное поле, заговорщически подмигнул Сергею:

— Ну, брат, форменный генерал. Стружку с тебя снимет…

Сергей закончил полеты, побежал по магазинам. Первым делом, подарков — может, помягчает. Пришел домой весь увешанный кульками да коробками, только в квартиру все же сразу идти побоялся. Толкался в коридоре, пока Маша не вышла, увидела.

Мать невзлюбила его сразу. Сказала зло и непримиримо:

— Не знаю и знать не хочу… Восемнадцать годков девчонке, а ему, вишь, ребенок понадобился… Небось, не первая?

Он сказал примирительно:

— Первая, мама, первая. И последняя, должно быть. Очень мы любим друг друга, поживете у нас — увидите…

И виновато улыбнулся.

— А учиться уже, значит, и довольно? Станет и того, что муж ученый?

— Нет, учебу Маша не оставит, это я вам твердо обещаю. Еще каким летчиком станет!

Мать прожила в Батайске полгода. Отходила трудно и медленно. Видела, как почти все заботы о семье, о ребенке Сергей взвалил на свои плечи, как вставал на рассвете, чтобы до работы на базар сбегать, как приходил усталый домой, укладывал Игорька на подушку, клал себе на колени, а Марию сажал рядом, готовил допоздна к завтрашним занятиям, — все видела, а сердцем ровно окаменела.

Одна надежда была на время, которое, известно, и камень точит. Да еще на обстановку в доме, в которой не могла вражда прижиться, свить себе уголок надолго.

Есть дома, в которых люди теплеют душой, оттаивают от будничных житейских метелей и наледей. Нет зачастую в этих домах того, что принято нынче именовать комфортом, нет узаконенного порядка вещей, который придает дому обжитость и степенность, — так, квартира-передышка между трудными переходами, с обычными заботами, с нехватками обычными. Но — удивительное дело! — тянутся в такие дома люди, словно мотыльки на свет, со своими неурядицами и хлопотами и возвращаются просветленными, очистившимися от тины мелкой суетни.

Такой была квартира Марии Кулькиной и Сергея Псарева. Прибегали каждый вечер летчики — посоветоваться, погреться около большого чувства. Приходили подружки по школе— похохотать, поплакаться, излить душу.

Мать понемногу оттаивала…

В небе

Комсомольцы тридцатых годов. Одно из тех поколений, которое вписало неповторимые главы в огненную летопись союза молодежи. Как обозначить во времени и пространстве хотя бы контуры этого поколения? Как показать своеобразие, которое само время накладывало на характеры, поступки, мечты этого поколения? Они наверняка были самыми разными. Но сегодня, читая или слушая воспоминания, думая о них, мы ясно представляем себе то общее, что роднило их, что было для них главным и определяющим. Им было трудно, во многом приходилось себе отказывать, но они были горячи и бескомпромиссны во всем — в учебе, в работе, в личных взаимоотношениях. Они были твердо уверены в собственной значимости и необходимости.

Уяснив для себя однажды, что жить без неба ей будет трудно, неинтересно, Мария сумела убедить в этом и отца; Иван Алексеевич помог ей получить документ, по которому выходило, что ей не шестнадцать лет, как было на самом деле, а семнадцать. Она сумела убедить в неотвратимости своего призвания и в серьезности своих намерений приемную комиссию летной школы.

Совершив этот крутой поворот в своей жизни, Мария пошла по избранному пути спокойно и несуетливо, ничем не выдавая ни своего торжества, ни редких вспышек отчаяния, когда что-то не ладилось.

В летной школе требования ко всем одинаковы. Учились в минуту вскакивать ночью по тревоге, карабкаться по стенке, выполнять ружейные приемы. Изучали материальную часть самолетов. Привыкали к строгой дисциплине, к ее организующей и убедительной целесообразности. Появление Игорька ни в чем не изменило установленного режима — никаких послаблений себе, никаких поблажек. Тот же строгий и четкий распорядок, та же напряженная программа занятий…

Потом был первый экзамен. В одной кабине инструктор, в другой — курсант. Она летала и до этого. Она уже была знакома с этим ощущением раздвоенности: уверенности в себе и невольного сомнения, безграничной власти над машиной и минутной растерянности, когда вдруг, на какое-то мгновение, начинает казаться, что ничего-ничего не знаешь, что все позабылось, а перед глазами одна неумолимая, властная, гипнотизирующая панель. И все-таки экзамен — всегда экзамен.

Сергей, наблюдавший за ее полетом с земли, потом говорил, что она летала, как бог, и даже чуть увереннее.

— Жаль, инструктор этого не заметил, — сказала Мария.

Сохранилась выписка из аттестации на курсанта Батайской авиашколы М. И. Кулькину. Долгие месяцы изнурительных тренировок, упорных занятий в классах, влюбленность в небо и неоспоримость первых успехов легли на бумагу краткими, как боевой приказ, служебными формулировками. «Дисциплинированна на земле и в воздухе. К материальной части относится хорошо… Теоретическая успеваемость с оценкой 4,0. Летная успеваемость на самолете „У-2“ хорошая и отличная…»

Потом началась работа в Грузинском управлении Гражданского Воздушного Флота.

Спустя тридцать с лишним лет техник по приборам Мария Степановна Курсова, прожившая тоже сложную и трудную жизнь, будет вспоминать о Марии с какой-то пронзительной грустью и восхищением.

— Дружили мы недолго, но разве настоящая дружба измеряется временем или, как принято говорить, количеством съеденной вместе соли? Чтобы быть истинными друзьями, нужно просто ощущать надежность, прочность плеча товарища. У Маши было именно такое плечо — в ней не сомневались даже те, кто знал ее совсем недолго. Талант у нее, что ли, был такой, не знаю, но льнули к ней все.

Работала у нас тогда же Мария Ивановна Колесникова, обойщица самолетов, — нас в шутку называли «три Маши, две Ивановны»…

Маша летала на «По-2», чаще всего по маршруту Тбилиси — Баку — Тбилиси, в Кахетию. А я обслуживала самолеты, в том числе и ее машину. Жизнь протекала в четко определенном ритме: вылет самолета — возвращение. На традиционный вопрос: «Как работала матчасть?» — такой же традиционный ответ: «Все в порядке!» Маша обычно произносила эту фразу задорно, даже немного с вызовом, и на душе становилось как-то легко и умиротворенно. Правда, острая тревога в промежутках между вылетом и прилетом все равно не покидала, это чувство во мне до сих пор живет…

Сколько людей — столько представлений о человеке. И, наверно, естественно, что, вспоминая о другом, каждый выделяет в нем те качества, те черты характера, которые ближе, роднее, понятнее ему самому.

Зоя Марковна Талыгина-Говор, ныне диспетчер по транзиту службы перевозок Тбилисского аэропорта, считает, что самой или, по крайней мере, одной из самых ярких черт Марии Кулькиной была ее удивительная привязанность к детям.

Невыносимо страдала она, когда в полуторагодовалом возрасте умер Игорек. Может, эта смерть и легла трагическим отсветом на всю ее дальнейшую жизнь?

Зоя Марковна задумчиво перебирает пожелтевшие ломкие листки Машиных писем с фронта, вспоминает:

— Детей любила неистово. От моей дочурки не оторвать, бывало. И все гостинцы, гостинцы. Из каждого полета — то игрушки, то фрукты. И как соберутся вместе — целыми часами возня, хохот. Мы уж не вмешивались, рады были, что оттаивает потихоньку сердцем…

Слушаю это и невольно задаюсь вопросом: была ли Мария в те годы счастлива? И на чем держалась ее любовь, что питала ее?

Жизнь ее с Сергеем внешне была обеспечена, благополучна. Но ведь нет двух совершенно одинаковых людей — значит, не может быть и двух одинаковых жизней. Юному, не искушенному в жизни существу всегда трудней. Сколько же мучительного напряжения, сколько кажущихся, призрачных тупиков, сколько сиюминутного отчаяния выпало ей в первое время и сколько мужества и человечности потребовалось от обоих, чтобы все преодолеть!

На ее долю достались обычные испытания жены. Испытания разлукой — он летчик. Испытания верностью — она ждала ребенка, а он каждый день уходил в полет, и летал, летал, отключившись от всего, что не связано было с полетом, что могло отвлечь, рассеять внимание, притупить предельную сосредоточенность.

Сергей был очень сильным человеком. Такие люди редко и не каждому открываются в минуты тягостных сомнений, разочарований и колебаний. Самым близким иной раз и то не открываются. Какой же надо было обладать внутренней силой и твердостью натуры, чтобы не покачаться, ни разу не поддаться слабости, которую иные женщины почитают едва ли не за добродетель! Мария умела быть рядом. Быть может, потому, что жила в ней какая-то природная ясность, понимание вещей, их взаимозависимости и истинной ценности. И еще, вероятно, потому, что всегда верила в мужа.

Говорят, любовь — не просто чувство, это состояние души. Пронести это состояние через все испытания— и есть настоящее счастье. Ну, а кроме всего, а вернее, — надо всем этим, была ведь у нее работа, трудная, сложная, но и любимая, была удовлетворенность делом, которому она однажды решила посвятить себя и которое оказалось делом всей ее жизни.

У нее часто не хватало времени для дома. Сергей не сердился, понимал, больше брал на себя. У них было самое

главное — неустанный взаимный труд души — единственное, что делает любовь любовью. Разве не мечтает об этом каждый из нас?

…Она уже приобретала свой собственный почерк в небе. В личном деле Марии Кулькиной сохранился акт Тренировочного отряда Грузинского управления ГВФ от 2 июня 1940 года — как свидетельство ее мужания, как осмысленный прогноз на будущее.

«Техника пилотирования в дневном открытом полете отработана на отлично, ведет машину и садится на аэродромах Кахетинской линии отлично. Считать ввод в строй законченным. Можно допускать к самостоятельным полетам…»

Время начало новый отсчет

В воскресенье 22 июня Мария должна была вылететь совсем рано. Приехала на аэродром — и сразу же окунулась в привычную сутолоку южного аэропорта. Шум моторов, медленно встающее солнце, розовеющие по краям облака.

Мягко опустилась на сиденье, натренированным взглядом скользнула по приборам. Высотомер, манометр масла, указатель скорости — все нормально, можно выруливать. В это время и примчался кто-то из техников, выкрикнул короткое, неведомое пока, страшное слово.

Война!

Время начало новый, необратимый отсчет — страданий, горя, потерь. Сейчас, много лет спустя, слушая воспоминания тех, что выжили, выстояли, знакомясь с мемуарами, мы пытаемся как-то условно различить поколения. Мы говорим: поколение двадцатых годов, комсомольцы тридцатых, молодежь сороковых. Но выстояли-то и победили мы потому, что грозовой рассвет того июньского дня встретило одно поколение— поколение советских людей.

В первые же дни войны в Вольске, родном городе Марии, как и во многих других городах страны, состоялся митинг.

Люди не успели еще осознать всю глубину опасности, нависшей над Родиной. Тысячи смертей, похоронки, виселицы и кровь, руины и пепелища — все это было еще впереди, эту горькую чашу еще только предстояло испить. Но пронзительный клич — «Родина в опасности!» — уже был брошен, и он поднимал на борьбу, звал к немедленным действиям.

Мария Васильевна Белавина сказала тогда на митинге:

— Никто из нас не знает, сколько продлится война. Наверное, не завтра ей конец и не послезавтра, если фашист столько земли нашей успел заграбастать. Мой сын на фронте. Но и мы тут не станем сидеть сложа руки, дожидаться победы. Поможем нашим сынам, которые дерутся насмерть с фашистом. Кто чем может. Вношу две тысячи рублей на строительство самолета. Пусть его назовут «Мать фронтовика» и громят на нем врага, который посягнул на нашу свободу, землю нашу топчет!

В самые короткие сроки в городе было собрано на строительство самолетов 4 миллиона рублей и на 2 миллиона рублей облигаций Государственных займов. 22 истребителя «Як-1» бесстрашно взлетели в грозовое небо войны, неся на своих фюзеляжах гордые имена: «Вольский патриот», «Вольский комсомолец», «Вольский цементник», «Мать фронтовика» — как

бесценные свидетельства самоотверженности и самопожертвования советских людей, как родительские благословения и напутствия.

В то же время рабочие, служащие и инженерно-технические работники Вольского завода «Большевик» внесли 295 406 рублей на постройку танковой колонны.

Иван Алексеевич Кулькин, отец Марии, к тому времени уже считался старым коммунистом, чуть ли не с двадцатилетним стажем. На митинге он говорил страстно и убежденно, как говорят о давно и прочно выношенном:

— Для отца и матери нет ничего дороже собственных детей, которых мы учим делать первые шаги по земле, вводим за ручку в первый класс, готовим в преемники своего дела и своей жизни. Но такова же цена и родной земли. И когда она в опасности, мы сознательно становимся на ее защиту, жертвуем всем, что имеем, что нажили, чем живем. Мы посылаем на ее защиту своих детей, связывая тем самым их судьбы, их будущее с большой судьбой Родины…

Самый младший в семье, Анатолий Кулькин, стал собираться в тот же день. Ему не было семнадцати; в военкомате высоко оценили его порыв и — предложили ждать, пока вызовут. Он решил идти самостоятельно — с такими же, как и он сам, ребятами, которым тоже отказали в праве немедленно взять в руки оружие. Сложил в небольшой чемоданчик мыло, зубной порошок и щетку, ложку, любимую книжку. Мать, молча наблюдавшая за его сборами и до последней минуты не верившая, что это всерьез, — ребенок же совсем! — не выдержала, сказала:

— Война, сынок, это ведь не пионерский лагерь.

Он ушел на рассвете, не попрощавшись: боялся, что в последнюю минуту мать разрыдается, и ему трудно будет сделать этот решительный шаг через порог.

Он вернулся через несколько дней, обтрепанный, голодный, злой и обескураженный — ни к одной воинской части прибиться не удалось. Зубной щетки и мыла в чемоданчике уже не было, он был доверху набит собранными в пути острыми, колючими осколками и пустыми гильзами.

Родись он несколько десятилетий спустя, он, наверное, с таким же упоением собирал бы марки или коллекционировал бы значки… Он родился в свое время. И на третьем году войны постаревших родителей настигло пронзительное, как выстрел, лаконичное извещение: «Ваш сын пал в боях за свободу и независимость…»

Для Марии война обернулась сначала разлукой с мужем — он

сразу же был переброшен на фронт. Потом — еще более усложнившейся работой, которая властно смешала границы дня и ночи, надолго заполнила все ее существо опасливым, томящим ожиданием возвращения в аэропорт, домой, к почтовому ящику.

Да разве для нее одной?..

Сначала Сергей писал часто. Тосковал, не мог никак привыкнуть к неожиданно растянувшейся во времени разлуке. Рассудком понимал: война, смертельная опасность, нависшая над Родиной, вынужденные жертвы. Сердцем не мог смириться, что вот возвращается с задания, каким-то чудом живой и невредимый, а ее, любимой, нет на фронтовом аэродроме, нет ее искристых глаз, нет сложенной козырьком ладони над бровями. Сколько было прожито и пережито вместе, а она и не подозревала, что и в письмах он умеет быть нежным и любящим, трогательно преданным и заботливым. Она читала исписанные его характерным крупным почерком листки, сложенные треугольником, и видела его рядом, слышала его голос: «Я люблю твою походку, родная…» «У тебя чудесная ямочка на подбородке, ни у кого больше такой не видел…» Как давно это было! Еще до войны. Она тогда умела так заразительно смеяться, когда он, высокий и сильный, брал ее на руки.

Потом письма стали реже и строже. «Человеку нельзя без Родины, как нельзя без сердца…», «Кровью наших отцов, насмерть стоявших в гражданскую, мы породнились с историей родной земли, с историей нашего народа, и теперь каждый из нас особенно остро ощущает, что он лишь малая капля в океане всенародного подвига».

На ее тревоги и волнения отвечал мужественно и сдержанно. «За меня не беспокойся, я живу хорошо, а летать стараюсь еще лучше, чем в мирное время. Ты пишешь, что в порту ожидают меня большим человеком. Все это, Марусенька, кажется мне сейчас смешным и нелепым, сейчас задача — разгромить этого гада, а потом уже будем думать о себе. Напиши, как ты заменяешь меня; работай так же, как я, а я работаю честно…»

28 февраля 1942 года Сергей Псарев не вернулся с задания.

Мария долго не могла прийти в себя. Сидела дома с пустыми от слез глазами, гладила жесткие фотографии. Выходила на минутку на улицу, запрокидывала голову в небо, ловила отдаленный гул самолета и тут же убегала назад, в тишину, в воспоминания.

По какой-то непонятной, пугающей ассоциации она все чаще стала обращаться мыслями к своему Игорьку. Вспомнила, как он заболел, лежал молчаливый и беззащитный — врачи сказали, что на ребенке отразились ее ночные полеты. Кормить его можно

только куриным бульоном. Сергей вставал очень рано, в четыре утра, чтобы до начала полетов сходить на рынок. Вспомнила тот самый страшный день последнего экзамена. Игорек оставался на руках у Сергея, а она должна была совершить вылет. Она сказала Сергею, что полет будет коротким, она еще успеет уложить Игорька в постель. А совершив посадку, вдруг увидела Сергея на летном поле — жалкого, словно прибитого неожиданно свалившейся бедой…

Это ведь было до войны. Почему же именно теперь все это надвинулось на нее так неумолимо?

От полетов на несколько дней пришлось отказаться — штурвал самолета послушен только твердой и уверенной руке.

Приходила в себя Мария медленно и трудно. Может, так всегда и бывает с женщиной, познавшей слишком раннюю потерю единственной, на всю жизнь, любви?

Сколько людей — столько судеб и характеров. Одни после страшного удара судьбы словно цепенеют, замыкаются в себе, не в состоянии одолеть, перебороть обрушившееся горе. Другие, наоборот, находят в себе какие-то неведомые прежде силы, вступают с горем в единоборство, проявляя при этом невероятную твердость и упорство.

Не так ли порой тонкий стебелек, растоптанный чьим-то каблуком, упрямо стягивает в узел упругие прежде волокна, натужно рвется от земли вверх, к солнцу, пока неведомая чудодейственная сила и впрямь не поможет ему подняться, выпрямиться, встать на земле.

Через несколько дней после получения страшного известия Мария пришла к секретарю партийной организации.

— Я должна вступить в партию! Дадите мне рекомендацию?

Он уточнил:

— Должна или хочешь вступить?

— У меня погиб муж, — вместо ответа сказала она. — Он был коммунистом…

Ее приняли кандидатом в члены партии единогласно.

А 10 ноября 1942 года Мария Кулькина была призвана в ряды Советской Армии, стала военным летчиком.

Нет, это еще не было фронтом — с его постоянным ощущением опасности, с его настороженностью и мгновенной готовностью вступить в бой, в котором решают не только знания, опыт, умение, смекалка, но и дерзость, воля, сознание высокой правоты своего дела. В служебных функциях летчицы почти ничего не изменилось — связь между частями, перевозка командиров, политработников. Прежним остались и установившийся уже ритм жизни, и распорядок дня — вылет,

посадка, краткий отдых и снова вылет. Несколько утешало столь необходимое во время войны внутреннее убеждение, что трудится она непосредственно на победу, занимает место в общем строю. Только — надолго ли? Присущая молодости жажда самоутверждения в делах трудных и опасных рано или поздно должна была проявиться, заявить о себе во весь голос.

Это уже сегодня, с расстояния в несколько десятков лет, мы хорошо понимаем, что по невероятной напряженности ритма, по немыслимой сложности решавшихся задач, по масштабам трудностей и невзгод тыл в годы войны нимало не уступал фронту. Это мы сегодня громко и осознанно произносим традиционную фразу о том, что победа над ненавистным врагом ковалась и в тылу, и верим этому искренне, всем сердцем, опираясь на логику фактов и событий. Тогда над рассудком властвовало сердце. И выстраивались очереди у военкоматов и райкомов, и набухали на столах у партийных, советских, хозяйственных руководителей стопки лаконичных, в несколько строчек, заявлений и рапортов: «Прошу отправить на фронт!»

В конце весны сорок третьего года в штаб 236-й истребительной авиационной дивизии, который располагался на небольшом хуторке под Ростовом-на-Дону, быстрой, уверенной походкой вошла совсем молодая женщина в офицерской форме. В штабе было накурено, отчего небольшая комнатка казалась еще темнее и ниже. Женщина чуть прищурила большие серо-зеленые глаза, пытаясь определить старшего начальника среди нескольких расположившихся за столами летчиков. Наконец разглядела и с какой-то молодцеватостью, которая больше отличает новичков, вскинула руку к пилотке:

— Товарищ полковник, младший лейтенант Кулькина прибыла для дальнейшего прохождения службы!

Она расстегнула полевую сумку, коротким жестом протянула направление.

Полковник принял бумагу, не глядя, положил ее на стол перед собой. Глаза его, темные, немигающие, на какое-то мгновение прямо, в упор уставились на летчицу. Цепкие, приметливые, они, показалось, успели схватить все — и трудно скрываемое внутреннее напряжение, и невольную настороженность, и немой, невысказанный вопрос: как примут? Полковник неожиданно улыбнулся, отчего все черты лица его вдруг смягчились и взгляд по-прежнему немигающих глаз несколько потеплел, громко спросил:

— А чего дрожишь, младший лейтенант?

— Никак нет, товарищ полковник, — выпалила она, не принимая шутливого тона. — Чувствую себя нормально.

— Ну, ладно, ладно, — сказал полковник. — Устраивайся, потом и определим. В звено связи пойдешь.

— Есть устраиваться, а потом в звено связи!

Она круто повернулась через левое плечо и четким шагом вышла из штаба.

Вечером Марию навестили девушки — комсомолки Аня Щеголкова, Маша Орлова и комсорг Надя Ушакова, связистки штаба, прослышавшие о прибытии летчицы. Мария расположилась в небольшой комнатушке с глиняным полом, с чадившей лампой, смастеренной из гильзы-стакана. Было тихо, уютно, тепло, все располагало к разговору по душам. От девушек Мария и узнала о предстоящей работе, о тех, с кем сведет ее с утра фронтовая жизнь.

На войне люди немногословны. Но летчики — народ особый; вернутся с задания, снимут летные доспехи — и только что испытанных нервных и физических перегрузок как не бывало. Рассказы, смех, шутки.

Мария даже среди летчиков выделялась какой-то неистощимой жизнерадостностью. Однако с тех пор, как не стало Сергея, она, будто впервые увидев мир с теневой стороны, неузнаваемо преобразилась, сделалась суровее и молчаливее. И вот теперь она, наверное, впервые за последний год говорила о себе, не скрывая глубокой душевной боли, не пеняя на судьбу, но и не тая горечи. Образ Сергея жил в сердце, и она должна была выговориться, чтобы хоть на время почувствовать облегчение.

На следующий день она приступила к работе в звене связи. Фронт отныне стал для нее самым ярким, самым насыщенным временем в жизни. Верность и прямота боевого товарищества, бескорыстие мотивов, что двигали людьми, истинность чувств — завладели всем ее существом, надолго, до самого последнего часа, определили линию поведения.

Из писем родным, товарищам и подругам было видно: ее одолевают мысли о неоплатном долге живых перед погибшими, перед такими, как ее Сергей, мысли о новой жизни, исполненной опасностей и риска, в которую ей предстоит окунуться.

Она написала домой: «Дорогие мои, я получила боевую машину. Отомщу за Сергея…»

Писала подруге: «Родные мои, как мне хочется побыть среди вас хоть один вечерок. В моей памяти вы все остались такими простыми, такими чудесными!

Пишите, как вы там сейчас живете, как вообще там жизнь, далеко-далеко. Я ведь не забыла из нее, из той жизни, ни единого дня, ни единого часа, хотя теперешняя ничем на нее не похожа…

Зоя, почему не ценится вовремя то, что легко дается?..»

Она летала на «По-2», на самолете, который, как никакой другой, имел в своем послужном списке целый арсенал прозвищ и кличек, от самых дружеских и ласковых до снисходительных и скептических, и который, тем не менее, вошел в историю войны и авиации с репутацией замечательнейшего труженика. На нем можно было летать незаметно, почти бесшумно и, следовательно, не столь уязвимо. На нем можно было взлетать почти без разбега. Одного только на нем нельзя было — молнией устремиться на врага, придавить его к земле, вогнать в землю. А разве есть на свете летчик, который бы не мечтал об этом, который бы во сне и наяву не видел этих огненных росчерков в небе, этих скрестившихся кинжальных трасс и неодолимо устремляющийся к земле дымный грохочущий факел!

Мария была человеком долга. Она добросовестно выполняла тот круг обязанностей, который был ей определен как летчику звена связи — доставляла секретную почту, бойцов и офицеров, возила письма и газеты, которые ценились порой больше хлеба насущного. Бывали дни, когда она совершала по нескольку вылетов и, добравшись до своей комнатушки неподалеку от аэродрома, падала от усталости. Но поступала команда, и она вновь вскакивала, бежала к своей машине, после короткого разбега плавно взмывала вверх.

Три десятилетия спустя, когда подвиг Марии станет известен ее землякам-вольчанам и в родной ее школе откроется уголок, посвященный мужественной летчице, шестиклассница Лена Ключникова обнаружит в бывшем доме Кулькиных ее летную книжку и принесет в школу. И прежде, чем передать ее в Вольский краеведческий музей, Лена и ее друзья, красные следопыты, будут скрупулезно высчитывать количество вылетов, совершенных Марией Кулькиной за лето сорок третьего. И поразит их воображение не только величие духа летчицы, но и ее выдержка, работоспособность, невероятное физическое напряжение.

Сохранился с той поры и другой документ, который дает некоторое представление о службе Марии:

«За время работы на фронтах Отечественной войны с 25 мая 1943 года Кулькина Мария Ивановна честно и добросовестно обеспечивала командование дивизии связью и помогала оперативно руководить полками дивизии.

За период с 25 мая по 25 сентября 1943 года Кулькина М. И. произвела 523 самолето-вылета с налетом 200 часов на выполнении заданий командования по обеспечению управления боевой работой частей дивизии.

При напряженной боевой работе частей дивизии Кулькина

Мария Ивановна проявила максимум энергии и инициативы по выполнению поставленных перед ней задач. Летала смело, уверенно, с большим напряжением, делая 12–15 вылетов в один день, не считаясь с переутомлением в работе.

За четкое и энергичное выполнение заданий командования по обеспечению управления боевой работой с передовых аэродромов частей дивизии младший лейтенант Кулькина Мария Ивановна в сентябре 1943 года награждена орденом „Красной Звезды“».

Она уверенно и самоотверженно делала свое дело. Однако с ее характером и темпераментом скоро ей и этого стало мало. И на столе у командира 236-й истребительной авиационной дивизии полковника Б. Я. Кудряшова стала расти стопка ее рапортов: «Прошу перевести в истребительный авиационный полк…»

Когда человека хотят удержать, когда он очень нужен именно там, где он есть, — апеллируют обычно к его сознательности. Делают упор на особой потребности в нем именно здесь. Полковник Кудряшов прибегал и к тем, и к другим аргументам. Мария и в самом деле была незаменима в звене управления дивизии. Всегда собранная, подтянутая, в любое время дня и ночи готовая к выполнению задания, ровная и сдержанная в обращении, она как нельзя лучше подходила к этому внешне мало чем примечательному, но очень важному и ответственному роду службы.

Хотя, если уж совсем откровенно, то самый главный аргумент полковник Кудряшов, опасаясь обидеть летчицу, вообще приводить не стал.

Он просто не считал возможным в короткие, по-фронтовому сжатые сроки в обстановке, максимально приближенной к боевой, заняться переучиванием летчика-женщины. Он отчетливо представлял себе и сложность такого переучивания: «По-2» и «Як-1» — машины не только не похожие, но едва ли не исключающие одна другую.

На войне, в боевой обстановке, командир мог сказать «нет», не вдаваясь в пространные рассуждения, не прибегая к поискам убедительных доводов и аргументов. Тем не менее для Кулькиной было сделано исключение. Она получила отказ мотивированный. На том вопрос и был решен, казалось, бесповоротно.

Вскоре дивизия была отведена в резерв. Получали новое пополнение и материальную часть, ввели учебно-боевую и политическую подготовку. Бывалые летчики передавали новичкам свой боевой опыт. В свободное от занятий и дежурств время писали домой письма, крутили фильмы, танцевали.

В один из зимних вечеров, когда время, казалось, застыло под

рано потемневшим хмурым небом и на сердце было как-то особенно неуютно и тоскливо, Мария пришла в офицерскую столовую, где обычно устраивались танцы. Было многолюдно и шумно. Она села в самом углу, так что ее почти не видно было за спинами танцующих, все еще необычно притихшая, не в силах стряхнуть с себя вязкое оцепенение одиночества. Это было не похоже на нее, прежнюю, никак не вязалось с ее активной, брызжущей удалью натурой, но она ничего не могла поделать с собой, сидела, отдавшись во власть настроения, почти не замечая танцующих. Потом музыка осторожно коснулась души, чиркнула, словно крылом по воде, по сознанию, и сразу же нахлынули далекие-далекие воспоминания.

Они тогда впервые выбрались с Сергеем в город— смущенные, избегающие посторонних взглядов, и вместе с тем почему-то инстинктивно рвущиеся к шумному многолюдью толпы с ее весельем, красками, музыкой. Сергей привел ее в живописно укрывшийся за горным выступом, сверкающий огнями ресторан с затененной верандой, заговорщически прошептал: «Сегодня вечер наш, правда?» Она сказала: «Да, я так давно не танцевала».

Теперь она, чуть прикрыв глаза, вновь увидела те крупные южные звезды в низко нависшем небе и какой-то необычный свет, пробивающийся сквозь листву дикого винограда, а потом услышала и музыку, прозрачную, полную изящества, будто сотканную из множества глубоких, бархатно-певучих звуков.

Она отчетливо помнит себя в тот вечер: ей казалось, что музыка, заполнившая огромную веранду, непостижимым образом вобрала в себя и прохладную влажность только что прошедшего дождя, и запах моря, и шелест ветра.

— Разрешите?

Почудилось? Или и впрямь голос Сергея? Только в его голосе так необычно сочетались твердая воля и глубоко упрятанная нежность.

— Так разрешите?

Она пришла в себя, увидела стоящего напротив командира третьей эскадрильи капитана Антипова, невысокого, плотного, с двумя совсем еще новенькими орденами Красного Знамени на гимнастерке, туго схваченной широким ремнем, виновато улыбнулась.

— Замечталась? Или взгрустнулось немного?

Она не ответила. Встала, спокойно пошла рядом с ним, чуть впереди, к танцующим. Один из офицеров играл на баяне «Осенний вальс»…

После танцев он пошел проводить ее. Было морозно, вдали глухо погромыхивало. Снег поскрипывал под ногами, отливал

серебристыми и зелеными искорками. И казалось, нет ни войны, ни тревоги, ни отдаленных раскатов артиллерийской канонады, и хотелось идти вот так, рядом, к воспоминаниям об иных зимних вечерах, ощущая в душе робкие отголоски отзвучавшей только что музыки…

Антипов стал чаще бывать в звене связи. Что влекло его к этой совсем еще молодой женщине с мягкими, теплыми волосами и необычным разрезом глаз, которая умела быть удивительно сильной, оставаясь трогательно-незащищенной? Неутоленная жажда одухотворенной взаимности, чувства, которое наполнило бы жизнь глубоким, неповторимым смыслом? Восхищение незаурядной натурой человека, которому выпало взрослеть в огне? А может, все вместе, хотя он и сам, вероятно, затруднился бы выразить это словами?

Наверное, это было жестоко, что именно от него, Юрия Антипова, Мария потребовала помощи, когда полковник Кудряшов отказался перевести ее в полк. Узнав ее ближе, почувствовав вдруг, как она ему дорога, Антипов тем более неспособен был обречь Марию на смертельную опасность, которая на каждом шагу подстерегала летчика-истребителя. И в то же время не было у него теперь желания более сильного, чем постоянно, ежечасно видеть, слышать, ощущать эту женщину возле себя, чувствовать ее дыхание, ловить на себе ее глубокий взгляд.

Он еще не обладал тем благоразумием и трезвостью рассудка, которые приходят с годами, заставляют нас порой отказываться от самого неодолимого в себе ради спокойствия и счастья другой, любимой. Ему шел двадцать второй год.

Через некоторое время младший лейтенант Мария Кулькина была откомандирована для дальнейшего прохождения службы в распоряжение командира 267-го истребительного авиационного полка И. И. Аритова.

«…Во время пребывания в резерве с декабря 1943 года по апрель 1944 года вместе с молодым пополнением из управления дивизии в полк прибыла Мария Кулькина, до этого летавшая на самолетах „По-2“. Командир дивизии предупредил меня, что Мария Кулькина имеет большое желание летать на самолетах-истребителях и имеет для этого все данные…»

Так писал тридцать лет спустя полковник в отставке И. И. Аритов, которого мне удалось разыскать в Ленинграде.

Второе рождение

Каким слогом говорить о советской женщине на войне? Как сообщить сыновьям и внукам то восхищенное удивление, ту благодарную признательность, которые мы в свое время испытали к ней? Как передать — от сердца к сердцу — высокий облик той, которую мы видели неизменно рядом изо дня в день, из месяца в месяц — нескончаемо долгих четыре года?

Кто-то из наших зарубежных друзей однажды, уже в пору мирных праздничных салютов, сказал: если бы собрать все цветы земли и сложить их к ногам советских женщин, то и этого бы недостало, чтобы выразить всю глубину изумления их беспримерным подвигом в годы войны.

Действительно, чем соизмерить подвиг юной Зои, ушедшей в бессмертие по обжигающе-скрипучему белому снегу, или отчаянную решимость смуглолицей Маншук Мамедовой — доблестной преемницы чапаевской Анки-пулеметчицы, или спокойное мужество тысяч и тысяч других женщин, которые ходили в разведку, ловили фашиста в перекрестье оптического прицела, вытаскивали из огня раненых, кормили хлебом огромную страну?..

Имена наших летчиц еще до войны были овеяны особым ореолом. Вся страна, затаив дыхание, следила за крылатой одиссеей Осипенко, Гризодубовой и Расковой, за виртуозным мастерством летчиц в тушинском небе на авиационных парадах. И не только потому, что в небе во стократ труднее и опаснее, чем на земле, что оно требует от человека полной самоотдачи, редчайшего самообладания. Скорее потому, что летчица в бездонной синеве неба стала как бы символом безграничных возможностей советской женщины.

В годы войны мир стал свидетелем массового героизма наших летчиц. Женский бомбардировочный полк… Летчицы — Герои Советского Союза…

В 267-м истребительном авиационном полку, куда прибыла младший лейтенант Мария Кулькина, женщины были только специалистами наземных служб — оружейницами, мотористами, метеорологами, прибористами. Летали мужчины. Мария была первой летчицей в полку, твердо решившей стать истребителем.

Многие годы спустя и командир полка И. И. Аритов, и начальник штаба В. П. Вольский, и командир эскадрильи Ю. Т. Антипов, и его заместитель Д. Д. Тормахов с нескрываемым изумлением будут вспоминать о необыкновенной силе духовного воздействия этой совсем еще молодой женщины с коротко

подстриженными и зачесанными назад волосами, энергичной походкой и крепкими руками, о том, как само присутствие Марии в полку невольно подтягивало самых ершистых, снимало с них налет бравады, делало их лучше, благороднее и — в этом не было никакого противоречия — мужественнее и самоотверженнее. Только тот, кто сам не раз и не два бывал под огнем, и мерз в окопах, и падал, споткнувшись о злой осколок снаряда, на прогорклую землю, — только тот способен до конца понять природу этого возвышающего влияния женщины на войне. Тем более — женщины, сумевшей подняться до высшей степени совершенства в избранном деле, стать вровень с мужчиной и утвердиться в общем признании.

Наверное, Марии в какой-то степени повезло. Она не только попала в эскадрилью офицера с большим боевым опытом, который давно уже открыл счет сбитым стервятникам, был однажды тяжело ранен и каким-то чудом остался в живых, дотянув до своих, — она стала переучиваться на истребителя под внимательным, преданным взглядом любящего человека.

Говорят, дружеский союз двоих обязательно предполагает родство взглядов, пристрастий, чувств. У Марии и Юрия Антипова очень схожими оказались не только пристрастия, но и биографии.

Отец Марии, Иван Алексеевич Кулькин, коммунист двадцатых годов, механик с золотыми руками, исколесил чуть ли не полстраны, в числе 25 тысяч посланцев партии участвовал в создании и укреплении многих машинно-тракторных станций, ставил на ноги колхозы в Казахстане, в Поволжье, на Украине. За его плечами была большая, сложная жизнь — с бессонными ночами, с голодом, с выстрелами из-за угла, с изматывающей работой, — нелегкая, но удивительно цельная и целеустремленная.

Много позднее из-за несчастного случая на заводе он лишится обеих ног и тем не менее останется в рабочем строю, будет трудиться до последнего своего дня, до последнего толчка в! сердце.

Это будет потом, когда Марии не станет. Но ведь нравственная атмосфера — своеобразный микроклимат семьи — складывается не в минуты сравнительного благополучия или духовного подъема и не в дни невзгод и тяжких испытаний, она формируется ежечасно и чаще всего исподволь, незаметно. Эта атмосфера предопределит впоследствии судьбу Марии, судьбу других детей и судьбу самого Ивана Алексеевича.

А отец Юрия Антипова, Тихон Семенович, среди десятков и сотен справок, снимков, удостоверений и мандатов всю жизнь

берег одну уникальную фотографию — группа военных моряков, вооруженных винтовками, перепоясанных пулеметными лентами, в революционном Петрограде, в котором только что, несколько часов назад, победила Октябрьская революция. В центре группы — он, матрос Тихон Антипов. А еще хранилось у него, коммуниста с девятнадцатого года, старое, полуистертое удостоверение: «Выдано тов. Антипову Тихону Семеновичу в том, что он действительно участвовал в Октябрьском вооруженном восстании в г. Петрограде в 1917 году и участвовал в Кронштадтском отряде против генерала Юденича в 1919 году…»

И в память Юрия, младшего сына, на всю жизнь врежутся сбивчивые, урывками, рассказы отца о том героическом времени. О том, как провожал он в Хельсинки Александру Михайловну Коллонтай. Как по счастливой случайности не расстреляли его участники контрреволюционного мятежа в Кронштадте. И мелькали в этих рассказах яркие, прославленные имена, давно уже ставшие нашей историей, — Рошаль, Дыбенко, Калинин… И рядом с ними имя Тихона Антипова.

И путь в авиацию был у Юрия Антипова почти таким же, как у Марии. Аэроклуб в Ленинграде, летное училище в Чугуеве. И мотивы те же, словно запрограммированные эпохой и особой, ни с чем не сравнимой тягой к небу.

Все это выявилось потом, стало определяющим в их взаимоотношениях. Вначале же были просто летчица, которой предстояло переучиваться на истребителя, и внимательно-строгий командир эскадрильи, которому приказано было помочь ей в этом.

То, что летчики 267-го ИАП приобретали в свое время в училищах, в условиях мирной или, по крайней мере, тыловой обстановки, Марии предстояло освоить в условиях, максимально приближенных к фронтовым.

В полку очень бережно относились к молодым летчикам, в строй вводили осторожно. Снова и снова заставляли изучать силуэты фашистских самолетов, запоминать их летно-тактические данные, экипаж и вооружение, уязвимые места. Не ограничиваясь этим, производили контрольные стрельбы по силуэтам самолетов.

Как правило, командир полка сам занимался с молодежью. Подробно разбирал по схемам проведенные бои, показывал, какие надо применять эволюции, как атаковать, как уходить от преследования.

Антипов относился к этим занятиям обычно скептически. По натуре он не был воспитателем. И свои обязанности командира

понимал по-своему: в боевой обстановке главное — личный пример. Делай, как я! А поскольку отваги и мужества ему не занимать было — он считался в полку хорошим командиром. Тем более, что летчики в эскадрилью, считал он, приходят подготовленные, и учить их летать на истребителе в его задачу не входит.

Выступая в роли наставника и воспитателя Марии, он, может быть, только теперь впервые осознал так остро свою ответственность за человека, за эту женщину — за ее жизнь. Самоотверженная любовь родила в нем такое заботливое терпение, такую силу убеждения, какой никто прежде и предположить в нем не мог. Он изучал с ней материальную часть машины, но главное внимание уделял заповедям, которые сам добыл в бою и которые для него самого давно! уже стали своеобразным кодексом летного мастерства.

— Запомни, атаковать врага надо первым и внезапно — внезапность атаки удваивает ее силу. Ну, а чтобы появиться в воздухе, не обнаружив себя, чтобы скрыть себя от противника, настоящий летчик использует все: солнце, облачность, высоту, складки и фон местности…

Удивительное дело: ей, закончившей летную школу и считавшей себя неплохой летчицей, слушать Антипова было интересно и увлекательно. Она и сама включалась в разговор, и он сразу же приобретал характер товарищеского обмена мнениями, в котором не было уже ничего от покровительственного наставления или поучения.

Антипов, не жалея ни времени, ни сил, готовил ее к полетам.

— Подполковника нашего девиз слышала? Воюй с горячим сердцем и холодной головой! Возьми себе на заметку. А что это значит на практике? Без нужды не торопись. Оцени обстановку и, если нет возможности удобно подойти к врагу, лучше выжди. Но уж ежели атакуешь — действуй решительно, стреляй наверняка, с короткой дистанции.

Каждое занятие Антипов использовал, чтобы сообщить Марии еще хоть один секрет летного искусства. Незадолго до выезда в командировку за новыми машинами он много говорил с ней о взаимоотношениях ведущего и ведомого в бою.

— Пуще глаза береги своего товарища. Если ему угрожает опасность, помоги в первую очередь — даже если перед тобой отличная цель и явный, стопроцентный успех…

Зачет по знанию материальной части самолета и мотора, по штурманской подготовке прошел успешно. Мария по-настоящему изучила истребитель «Як-1», хорошо усвоила порядок выполнения полета.

В это время она была словно бы переполнена жизнью, которая бурлила в ней и клокотала. Страсть к небу стала еще сильнее. Как будто только теперь, когда заветная мечта приблизилась и обрела осязаемость, когда стала вырисовываться реальная возможность подняться и взмыть в небо не так, как прежде, — спокойно и осторожно, — а стремительно и неудержимо, она впервые увидела его по-настоящему — бездонным и влекущим. Даже на письма ее той поры лег отсвет этой переполненности: они насквозь пронизаны светлой любовью к родным и близким, которые остались где-то далеко-далеко, словно бы в другой жизни, о которой вспоминается сладко и мучительно.

Оставались практическое освоение полета и тренировки в технике пилотирования, когда Антипов убыл в командировку.

Командир полка вызвал к себе только что вернувшегося из дома отдыха в Ессентуках Дмитрия Тормахова, заместителя командира эскадрильи.

— С младшим лейтенантом Кулькиной знаком?

Тормахов повернул голову в сторону стоявшей навытяжку перед командиром молодой женщины в летной форме, приготовился уверенно ответить: «Никак нет, товарищ подполковник!» — и вдруг осекся. Как, неужели та самая?

Аритов заметил внезапное замешательство Тормахова, сказал, внимательно глядя ему в глаза:

— Вижу, что знаком. Ну, тем лучше. Антипов улетел, значит, тебе заканчивать обучение.

— Ясно, товарищ подполковник. Разрешите идти?

Они вышли от командира полка вместе. Встали возле опоясывавшего двор, покосившегося забора, взглянули друг на друга и неожиданно улыбнулись.

— Узнали, значит? — спросила она.

— Еще бы, не узнать!

…27 мая сорок третьего года в одном из воздушных боев на Кубани его самолет загорелся, камнем пошел вниз на глазах у отчаянно дравшихся летчиков. Домой было послано извещение. Вскоре на имя Дмитрия пришло в полк письмо от матери. «Дорогой сынок, — писала мать, — мне сообщили из штаба, что ты погиб. Но я-то знаю, что жив ты, и потому пишу тебе…» Начальник штаба показал письмо командиру полка. Вместе погоревали о хорошем летчике, но мать разубеждать не стали. Раз такая у нее вера — так тому и быть.

Между тем Тормахов, израненный, обгоревший, в то время как товарищи, уверенные, что спастись ему уже невозможно, потеряли его самолет из виду, — нашел в себе силы выпрыгнуть с

парашютом у самой земли. Через три-четыре недели он убежал из госпиталя и вернулся в полк. Увидев боевые машины, услышав шум моторов, жадно вдохнув привычные запахи бензина, масла, лака и клея, он испытал забытое на время волнение, понял, что попал, наконец, домой, к своим. Смотреть на него, как на диковину, сбежались не только все летчики, но и прибористы, и техники, и оружейники. Командир полка не дал ему отрапортовать, сгреб в охапку, но, увидев, как Тормахов охнул и побледнел, растерянно выпустил из объятий, пристально взглянул на него и все понял.

— Вон ты какой гусь! — деланно возмущенно закричал он. — Сбежал из госпиталя? Ну, это тебе так не пройдет.

— На фронте, говорят, раны скорее заживают, товарищ подполковник!

— Ничего, ничего, я тебя подлечу. Под арест пойдешь! — Только глаза смеялись радостно, озорно.

На следующий день он вызвал Тормахова к себе, уставившись в стол, тоном, не допускающим возражений, твердо сказал:

— Сегодня же вылетишь в Ессентуки, в дом отдыха. Комдив дал самолет, так что немедленно отправляйся.

Тормахов понял, что возражать бесполезно.

На аэродроме его ждал самолет. Тормахов был еще метрах в пятидесяти, когда от самолета отделилась небольшая фигурка летчика, бросилась навстречу. Оказалось, молодая женщина. Короткая стрижка, курносый нос, румяные полные щеки. Неприятно покоробило — для заслуженного летчика, каким он без ложной скромности уже считал себя, могли бы выделить и мужчину. Поздоровался сухо, даже фамилию пропустил мимо ушей, когда она представлялась, молча сел в самолет.

За взлетом, да и за полетом следил придирчиво, почти с озлоблением. Однако уже через несколько минут профессиональным чутьем уловил: летчица хорошо чувствует машину, ведет ее уверенно, спокойно, можно даже сказать, чисто. К концу полета настороженность Тормахова и вовсе рассеялась, и расстались они очень дружелюбно.

И вот теперь летчица, оказывается, в их полку.

Первый совместный полет с Тормаховым в качестве инструктора был назначен на 23 февраля. С самого утра Тормахов испытывал легкое чувство досады. V всех праздник, День Советской Армии, а тут — на тебе! Но в самолет сел спокойно, ничем не выказывая своего настроения. Демонстрируя порядок выполнения полета, сделал один круг, второй. Мария сидела молча, сосредоточенно глядя на приборы и незаметно наблюдая за каждым движением своего инструктора. Когда Тормахов зашел

на третий круг, она мягко и в то же время требовательно попросила:

— Разрешите мне, товарищ капитан.

— Ну, давай, пробуй.

Она взяла управление на себя, повела машину уверенно, властно. Тормахов поразился: чуткий истребитель оказался на диво смирным и послушным крепкой и властной женской руке!

Совершили посадку. Тормахов, не поднимаясь с сиденья, сказал:

— Хвалить пока не буду. Но получается неплохо. Хочу несколько советов дать, младший лейтенант, авось пригодятся. То, что на истребитель рвалась, — молодец, хотя и не одобряю, не женское это дело. А вот хитростью запасись, очень пригодится. Хитрость, милая, если ею умело пользоваться, — тоже оружие. Воздушный бой скоротечен, а фашист хитер, у него тысячи уловок. Вот ты и сумей распознать их. Он постарается обмануть, ударить из-за угла. А ты не торопись, прикинь: то ли промах, то ли намеренно подстроенная ловушка.

Выбрался из машины, прошелся, разминая ноги, подождал, пока выбралась и Мария, добавил, словно продолжая разговор:

— Вот еще что: смотри в воздухе в оба! Старайся увидеть противника раньше, чем он тебя заметит. Первым увидел — считай наполовину победил. Прежде чем атаковать, осмотри все, особенно заднюю полусферу — не угрожает ли опасность оттуда. Если не находишь врага, это еще не значит, что его нет, он может оказаться совсем рядом.

Тормахов перехватил веселый взгляд Марии, насупился:

— Хочешь, небось, сказать, что тебе это все известно, летчица ведь, как-никак. Так я тебе вот что на это отвечу, младший лейтенант: в первом же бою поймешь, что «Як» это тебе не самолет связи!..

Повернулся круто и пошел с летного поля.

После пяти совместных полетов Тормахов доложил командиру полка о готовности Марии Кулькиной к проверке.

Аритов, вопреки издавна заведенной традиции, на этот раз сам проверять Кулькину не стал. Может, не хотел излишне волновать летчицу. А может, и сомнения еще кое-какие испытывал. Разрешил Тормахову взять свой «Як» и лично удостовериться в готовности Кулькиной к самостоятельным полетам.

Тормахов отдал приказание на три полета по кругу, сделал последние распоряжения, еще раз внимательно и придирчиво оглядел все.

Мария надела парашют, села в пилотское кресло, запустила

мотор, уверенно положила ладони на штурвал. И сразу, казалось, отсекла все постороннее, отключилась от воспоминаний, от знакомых и родных голосов, звучавших только что в ушах, забыла обо всем на свете. Один лишь штурвал да приборы, да шлемофон. Вырулила на старт. Самолет нетерпеливо вздрагивал, словно сдерживаемый уздой огромный сильный конь, угрожающе ревел. Мария прибавила оборотов двигателю. Взлет!

Как бы досконально ни знал человек технику пилотирования, сколько бы ни совершил полетов с инструктором — этот миг всегда как откровение. Кажется, будто слился в одно с азартно-стремительной машиной, принял на себя огромную долю нагрузки, помогая ей оторваться от земли, взмыть к небу. Зато потом, уже рассекая упругий, тугой воздух, начинаешь и сам ощущать за спиной большие, сильные крылья, и сердцу становится тесно в груди от радостного, упоительного чувства.

После третьего полета, едва Мария выбралась из кабины, восторженно-счастливая, сияющая, подбежал Тормахов. Ломая всякую субординацию и не дожидаясь доклада, сгреб ее в объятия, восхищенно, взволнованно выдохнул:

— Ну, молодчина!

Аритов тоже остался доволен. Когда эскадрилья была построена, он несколько раз прошелся вдоль строя, словно обдумывая только что происшедшее на его глазах, наконец остановился, громко сказал:

— Младший лейтенант Кулькина, выйти из строя!

Дождался, пока она сделала два шага вперед и повернулась кругом, и так же громко произнес:

— За отличные полеты объявляю благодарность!

— Служу Советскому Союзу!

Тренировочные полеты продолжались около двух недель. До тех пор, пока Тормахов не решил, что пора перейти к сложному пилотажу. И вот, наконец, он снова поднялся с Марией в воздух, взял управление на себя и — обрушил на нее целый каскад виражей, бочек, петель, переворотов. Если уж быть до конца откровенным, ему захотелось хоть раз смутить эту уверенную в себе молодую женщину, прочесть на ее лице следы то ли испуга, то ли растерянности — ведь крутил-то все эти фигуры ас! Тщетно, она была только немногим более обычного оживлена, но спокойна и сосредоточенна.

— Можно мне попробовать?

— Давай!

Она выполнила почти все фигуры сама. На том же боевом самолете.

Это было 11 марта 1944 года.

Говорят, настоящим летчиком, как и художником, и писателем, и артистом, нельзя научиться быть. Им надо родиться. В этот день Мария вторично родилась как летчица. Как истребитель!..

Тот последний бой

15 мая 1944 года 167-й авиационный истребительный полк под командованием подполковника Аритова перебазировался на аэродром близ Раздельной.

Несколькими днями ранее противник попытался мощным наступлением сбросить войска 8-й гвардейской армии с Шерпенского плацдарма, захваченного на правом берегу Днестра; он ввел в бой большое количество самолетов всех видов. На наших летчиков была возложена задача прикрывать войска на плацдарме, изо всех сил драться за господство в воздухе. В небе над плацдармом ежедневно с обеих сторон висели сотни самолетов.

267-й ИАП, помимо прикрытия наземных войск, выполнял также задачи по сопровождению штурмовиков и бомбардировщиков к вражеским позициям.

…20 мая небо над аэродромом у Раздельной с утра затянули низкие лохматые облака. Ветер был небольшой, совсем легкий, но облачность постепенно разгонялась, и следовало быть наготове.

Механики — земные хозяева машин — пришли на аэродром раньше всех. Заработали моторы, из выхлопных патрубков вырвались лиловые языки пламени, единственные источники света на летном поле. Могучий рев потряс полусонную степь.

А затем воцарилась напряженная тишина, словно и не было вовсе ни этого страшного рева, ни отблесков пламени на давно уже укатанной земле.

Механики в последний раз осмотрели самолеты, вооружение и оборудование, дозаправили баки бензином, маслом, пополнили воздухом бортовые баллоны.

Летчики тоже поднялись в этот день рано, заря только занималась. Сразу же после завтрака отправились на аэродром. Приняли у механиков самолеты, проверили управление. Затем, как обычно, собрались на командном пункте эскадрильи — в невысокой полузарытой в землю будке, где были стол, несколько табуреток и телефон. Ждали приказа на вылет. Техники остались у машин, готовые в любую минуту повернуть вентили аэродромных баллонов сжатого воздуха, чтобы запустить моторы.

Кому из летчиков выпало на долю вернуться живым с войны, тот навсегда запомнил пронзительно-щемящее напряжение этих минут. Когда разом будто улетучивается ив сознания все, что было прежде, что еще час назад казалось единственно важным, и остается только то, что последует сейчас, через несколько мгновений, после боевого приказа. Люди жадно затягиваются

табачным дымом, пробуют шутить, неумело и нарочито-беззаботно.

Мария в это раннее утро была спокойна и вся будто светилась каким-то тихим, безмятежным счастьем. Она вышла победительницей — отстояла свое законное право на мужество, на риск, на торжество победы в смертельном поединке с врагом.

Предвкушение близкого боя наполняло все ее существо неведомой прежде яростной силой и острым нетерпением. Но обнаружить, уловить это не удалось бы и самому придирчивому взгляду.

В самый разгар шутливой перепалки она вдруг сказала, обращаясь к рядом стоявшему летчику:

— А ну, сними-ка гимнастерку, подворотничок свежий пришью!

Ситуация, в общем-то, была привычной — Мария не раз круто уличала своих друзей в недостатке прилежания. Летчик не стал противиться.

Мария достала иголку с ниткой, отодрала грязный подворотничок, покопавшись в полевой сумке, достала новый, старательно и сосредоточенно стала подшивать его к вороту гимнастерки. Посыпались шутки: вот несчастье, и перед боевым вылетом покоя нет; упаси бог в такие руки; на гражданке попасть! А в душе невольно восхищались. Не каждому асу дано ощущать перед вылетом такую уверенность в себе и в других, такое невозмутимое спокойствие.

Улетела на выполнение боевой задачи первая эскадрилья. Шум и шутки стали постепенно утихать. Сознание того, что товарищи, возможно, уже ведут бой, что в эти самые минуты уже решаются чьи-то судьбы, ловятся в перекрестье прицела чьи-то жизни, сделало летчиков строже и суровее.

Наконец поступила команда и на КП третьей эскадрильи — сменить первую. Капитан Антипов поставил летчикам задачу, определил боевой состав. До самой последней минуты он испытывал мучительные колебания и так и не решил, возьмет или не возьмет на задание Марию. И только начав отдавать приказ, с ужасающей определенностью понял, что для нее самой этот вопрос уже решен бесповоротно. Конечно, приказ есть приказ, и горе тому, кто рискнул бы ослушаться. Но в последнюю минуту ему вдруг показа лось, что, прими он решение оставить Машу на КП, она бы и в самом деле ослушалась.

Взлетали парами. Антипов и Кулькина в качестве ведомой. Тормахов и Мащинский. Затем еще два звена. На фюзеляжах истребителей отчетливо видны были большие, аккуратно выведенные надписи — «Освобожденный Донбасс»: незадолго до

того самолеты были приобретены на личные сбережения тружеников шахтерского края.

Выстроились в боевой порядок, взяли курс на Григориополь.

Метеорологические условия с самого начала сложились для эскадрильи неблагоприятно. К линии фронта шли под облаками, на высоте 1500 метров, в полнейшем неведении о том, что делается выше. А придя в заданный район, вдруг обнаружили, что облачности нет, и над эскадрильей висят более полутора десятков «Ме-109» и «ФВ-190». Самая драматическая обстановка, какую можно только себе представить, — у противника численное преимущество и выгоднейшее положение для атаки!

Первым было атаковано звено Погорелова, затем звено Петрова.

Нет, наверное, ничего стремительнее и беспощаднее воздушного боя. Неделями и месяцами люди до седьмого пота, до изнеможения постигают технику пилотирования — крутят бесчисленные петли, перевороты, бочки, упражняются в стрельбе, все это время словно сжимая до отказа тугую, твердую пружину, чтобы затем, в короткие мгновения боя, отпустить ее со страшной, безжалостной силой.

С земли может показаться, что стремительные росчерки в небе беспорядочны, хаотичны, что нет в них ни строгой осмысленности, ни единого плана — одни лишь ошеломляющие скорости и огненные струи, выплескивающиеся наружу. И только очень наметанному глазу дано различить индивидуальный маневр летчика, увидеть, что мечущиеся в небе молнии образуют на самом деле совершеннейшую схему, в которой для каждого предопределен свой маршрут, в которой каждый занимает одному ему предписанное место.

Загорелся один стервятник, пылающим факелом устремился к земле. Другой…

Против двух «мессеров» бросил свой ястребок капитан Антипов. Мария, ведомая, внимательно следила за командиром эскадрильи.

Настоящий ас тем и отличается от обыкновенного летчика, что в бою он словно бы обретает второе зрение, что, бросаясь в атаку, он одновременно видит и то, что происходит за спиной, не дает ни на миг застать себя врасплох. Антипов, несомненно, увидел, что его ястребку заходят в хвост два «фоккера». Но азарт атаки достиг такого накала, что остановиться он уже не мог, да и машина не подчинилась бы. Увидела это, наверное, и Мария. И мгновенно сработало то внутреннее, исподволь накопленное богатство, которое именуется силой характера, готовностью к самопожертвованию. Она бросила свой истребитель между

ястребком Антипова и «фоккерами»…

У каждого дерева своя судьба, свои утраты и свои праздники.

Праздник березы — ее весеннее пробуждение. Сколько лет прошло, мальчишкой тогда еще был, а не забыть: в просторном весеннем лесу, где небо — узорчатыми клочками между высоких, разросшихся вершин, светло от берез. Они стоят кучно и стройно, чуть шевеля тонкими ветками, ничем почти не выдавая своего напряжения, своей насыщенности жизнью. Но мы-то, мальчишки, знаем: хмельной сок уже играет, переполняет березу, всю, от комля до самой вершинки, рвется вверх по стволу с такой силой, что тронь только кончиком ножа, и брызнет, пойдет заполнять неглубокий желобок щедро и неудержимо.

Тополь справляет свои именины летом, когда лопаются коробочки, выпуская мириады пушинок. Не было для нас, малышей, большей радости в такие дни, чем, сгребая с земли этот пух грязными потрескавшимися ладошками, поднимать руки высоко над головой и отдавать его во власть легкому ветерку. До сих пор ощущаю тепло этой цепляющейся за одежду, оседающей на ресницах и на губах белой метелицы.

Лиственница справляет свой праздник в первых числах октября. Когда отбушует и тихо рассыплется листопадная краса осин, берез, рябины. Когда небо высветлится безоблачной синевой и лягут на него отсветы земной позолоты. На темнеющем фоне других деревьев кроны лиственницы вдруг начинают полыхать ярким и нежным огнем.

У каждого дерева — свой годовой праздник.

У каждого человека — свой звездный час.

Конечно, и начальные шаги человека во многом определяют ту нравственную дорогу, которой он со временем пойдет. Но чаще его становление происходит незаметно.

В качестве летчика-истребителя она успела до обидного мало. На войне как на войне. Редко ли случалось, что не все усилия приводили к желанному результату и не все планы осуществлялись. Так имело ли какое-то нравственное значение, что многие из тех, кто отважно боролся, не успевал завершить начатое? Мария жизнью, звездным своим часом дала исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Летчики 267-го ИАП не были новичками в ратном деле. Многие давно уже жили в мире суровых опасностей войны, в мире невосполнимых утрат и потерь, привыкли воспринимать неотвратимое мужественно, не отводя глаз, хорошо понимая, что такова суровая проза войны и не сегодня-завтра злая доля может постигнуть любого из них, живых. С гибелью Марии они так и не смогли смириться. О ней думали, о ней говорили в короткие

передышки между схватками в небе. Ей посвящали свой последующие победы над врагом.

Три десятилетия назад ужаленный огнем ястребок Марии Кулькиной упал в долине Тамашлык. А память о мужественной летчице живет и живет, высокая, яркая, нетленная…

— Что было в ней положительного с точки зрения боевой характеристики — это высокий патриотизм, любовь к Родине, дисциплинированность, постоянное стремление совершенствовать свои знания и летное мастерство, — скажет позднее полковник в отставке И. И. Аритов. — *Ну, а главное — неодолимая страсть к небу, нацеленность на бой…*

Гибель Марии весь личный состав полка воспринял как тяжелую утрату…

Самую яркую черту Марии — целеустремленность — отметит подполковник запаса Ю. Т. Антипов:

— Она рвалась в бой за Родину и погибла мужественно, отдав жизнь за освобождение молдавского народа от фашистской нечисти…

Полковник Д. Д. Тормахов говорит:

— Мы, летчики, понимали, что профессия истребителя — не для женщины. Вести воздушный бой — это даже не каждому мужчине под силу. Марии бесполезно было говорить об этом, и она сумела всех нас убедить в своем неотъемлемом праве летать на истребителе.

Она погибла, честно выполнив свой долг, не дрогнув в бою. Когда потребовалось прикрыть командира, она сделала это, презирая смерть…

Трудно передать наше настроение и самочувствие, когда мы прилетели на свой аэродром. Мы, мужчины, плакали. Мы потеряли всеми любимого, прекрасного человека…

Профессия летчика, военного летчика в особенности, пожалуй, одна из самых мужественных и самых сложных. Ни в одной другой так не спрессована воля, не собраны в такой могучий сплав лучшие человеческие качества, не поднята на такую высоту готовность к подвигу и самопожертвованию.

Мария была настоящим летчиком.

У Кургана славы

За давностью лет нам порою уже начинает казаться, что все военные истории давно рассказаны, кому суждено было остаться в живых — повстречались и свиделись, а для тех, кто не вернулся, зажжен огонь у братских могил — яркий и вечный, как память народная. И вдруг один какой-нибудь эпизод, чья-то неожиданная судьба снова напомнят, какой бесконечно трудной была минувшая война и как долго еще будет звучать ее эхо…

На 24 августа, день освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, было назначено прощание с мужественной летчицей в Дубоссарском районном Доме культуры и перезахоронение ее останков у Кургана славы, близ села Кошница.

Прибыла делегация из Вольска во главе с первым секретарем горкома комсомола Геннадием Ломовцевым. Из Тбилиси прилетели довоенные подруги Марии Римма Иосифовна Джоджуа и Зоя Марковна Талыгина-Говор, секретарь комитета комсомола Тбилисского аэропорта Вячеслав Мосашвили. Прибыл из Мытищ подполковник запаса Юрий Тихонович Антипов.

Первые слова, самые сердечные, самые душевные, которые они произнесли на молдавской земле, были о Марии.

Но — очевидно, так и должно было случиться, — говоря о ней, о времени, когда им довелось идти рядом, и встречать одни рассветы, и печалиться одними неудачами, и поверять друг другу самое заветное, они невольно рассказывали и о себе, о своей уже далекой, незабываемой юности.

И складывался рассказ не о Марии, не о Римме Джоджуа, не о Юрии Антипове — о целом поколении, принявшем на себя страшный удар того памятного июня, вынесшем на своих плечах тяжкое бремя утрат, смертей, ответственности за судьбы страны.

Почти у каждого случаются в жизни такие испытания, пройдя через которые человек обретает себя. Поколение, которому принадлежали Мария и ее сверстники, обретало себя в тягчайших испытаниях, какие только могут выпасть на долю человека в служении Отчизне, в смертной схватке с врагом.

Кто-то сказал: народ бессмертен, пока есть люди, готовые умереть за него.

Одна только Вольская школа № 1 имени Ленина, в которой некогда училась Мария, в годы войны дала Родине восемь Героев Советского Союза.

Что было необыкновенного в этих людях?

Те, для кого в то душное лето война стала Священной, Отечественной, слово «Ленин» произносили наравне с самыми

драгоценными словами — «мама» и «Родина». Еще задолго до войны они видели в своих семейных альбомах фотографии отцов и старших братьев в островерхих шлемах со звездой и уверенно делили мир на «красных» и «белых». Они учились в советской школе, ходили в тир, метко били по мишеням, и тогда рядом с «яблочком» тотчас же падал набок деревянный или жестяной фашист со свастикой. Они мечтали об осажденном Мадриде, твердо памятуя о том, что фашизм, в Испании ли, в Абиссинии ли, — это война. Они жили среди молний, потому что на ближних и дальних границах страны, в ближних и дальних точках земли горизонт постоянно заволакивало дымом пожарищ. Предметом гордости и зависти был значок «Ворошиловского стрелка» — они жили, сжимая одной рукой винтовку, и война не могла застигнуть их врасплох, разве только ее точная дата — день и час.

Они вырастали, строили пятилетки, гордились первым советским трактором и восхищались мужеством челюскинцев…

Высокая нравственная атмосфера рабочих династий, хлеборобских семей продиктовали им линию поведения в годину народных бедствий, и они шли в бой, исполненные справедливого гнева и ненависти к злой силе, которая давно уже мешала строить спокойно наш дом, уверенные, что победа будет за нами.

Таким было поколение.

Лида Кулькина накануне войны успела закончить учительский институт. Она готовила себя к тому, чтобы учить детей. Она мечтала о том дне, когда в новых туфельках и в новом жакете войдет в незнакомый класс, увидит перед собой тридцать пар озорных, насмешливых, пугающих глаз и, скрывая волнение, тихо скажет: «Здравствуйте, ребята!» Она даже наперед знала, как она их будет воспитывать и какими они у нее вырастут.

Вместо этого в первый же день войны она пришла в военкомат. Настойчиво и требовательно задала вопрос, который еще долго после нее, целых четыре года, будут задавать тысячи и тысячи ее сверстников и сверстниц:

— Чем я могу быть полезна?

Она не была уверена, что ей дадут дело посложнее. Поэтому решительно добавила:

— Мой отец — коммунист с юных лет…

К ней отнеслись со всей серьезностью:

— Хотите стать переводчицей?

Было ли ей потом легче, нежели другим? Кто знает. Конечно, ей не выпало ловить на мушку бегущего врага, и, выбиваясь из последних сил, вытаскивать из-под огня истекающего кровью солдата, и вжиматься в стенку осыпающегося окопа при виде

пикирующего стервятника. Но сколько холодных, тягостных, липких прикосновений войны испытала эта женщина, пристально и подолгу, сотни, тысячи раз вглядываясь в самоуверенные, наглые, рабски угодливые лица врагов и внешне бесстрастно переводя их показания.

Римма Джоджуа, которая училась вместе с Марией в Батайской летной школе, встретила войну в небе. Ей было всего двадцать два года, когда вошли в ее жизнь лихорадочные будни фронтовых аэродромов и завывания сирены, объявляющей воздушную тревогу, и унизительная горечь бессилия перед безнаказанностью фашистских стервятников лета сорок первого — вошли, да так и остались на долгие-долгие годы.

С высоты десятилетий мы с пристрастием вглядываемся в эти рядовые биографии. На каких высоких образцах мужества и самоотверженности женщины настояна наша яростно-трудная история! Какими яркими страницами вписаны в эту историю имена первых на селе комсомолок, первопроходчиц Комсомольска-на Амуре, молодых героинь войны, матерей, обувавших, одевавших, хлебом кормивших огромный — от Баренцева до Черного моря — фронт! Те, кому выпало на долю встречать тот воскресный июньский рассвет, на всю жизнь запомнили заклинавший и закликавший с афишных тумб, с заборов, со стен домов черно-белый плакат — простоволосая женщина с распростертыми, словно крылья, руками, с белыми от гнева глазами и разверстым в крике ртом: «Родина-мать зовет!»

Во все времена женщина олицетворяла собой нашу Отчизну, нашу землю, наш народ.

Мария, Машенька, как называли ее фронтовые друзья, была из той же когорты.

И вот о ней вспоминают родные, подруги, фронтовые побратимы — давно поседевшие, с глубокими бороздами морщин на лицах. Состарились, стали бабушками миллионы ее сверстниц, и теперь их руки, вскидывавшие автомат, уверенно лежавшие на штурвале, бережно отдиравшие бинты, — нянчат внуков, трепетно перебирают пожелтевшие письма и фотографии.

А Марии по-прежнему двадцать четыре. Такой она осталась в памяти родных, близких, знакомых. В нашей памяти. Навсегда. И не могут люди представить ее себе иной.

…С самого утра нескончаемым потоком идут люди к Дому культуры, где установлен гроб и выставлены найденные обломки истребителя. Рабочие дубоссарских предприятий, колхозники, учителя, врачи. Старики, женщины, дети. Очень много детей.

Идут в молчании. Вглядываются в то, что много лет спустя после разыгравшейся в молдавском небе трагедии возвратила

земля. Ручка штурвала. Оптический прицел. Радиостанция. Сектор управления оборотами двигателя. Пистолет ТТ №БА 7832. Парашют.

Многие не в силах сдержать слезы. Плачут открыто, не таясь, на виду у людей, низко склонив седые головы.

Кажется, нет конца этой скорбной очереди, и этим цветам, и этим венкам — последней дани живых тем, кто не вернулся к отцам, матерям, женам с жестокой, смертельной битвы…

…До предела заполненные заботами трудовых будней, мы подчас не замечаем, как быстротечна поступь нашего времени. Великая Отечественная война кажется нам, ее участникам, событием совсем недавним. Она живет в нас не только отсветами незабываемых воспоминаний, но и обостренным чувством ненависти к фашизму, живет памятью о безвременно ушедших из жизни боевых друзьях, живет в саднящей боли наших ран, в горечи утрат, живет в несказанной гордости за достигнутую победу.

Человеку, который родился в мае сорок пятого, уже тридцать, у него уже свои дети, но о войне, к счастью, знает он только из литературы, из рассказов ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше.

Наверное, для этого поколения особенно важны и бесценны настойчивые поиски на тропах минувшей войны, благоговейная память живых.

…Наступают последние минуты прощания в Доме культуры. Утопающий в цветах гроб медленно плывет над головами людей к выходу, устанавливается на бронетранспортере, в сопровождении почетного эскорта направляется к Кургану славы.

Никогда эти дороги не видели такого нескончаемого потока людей. В автобусах, на автомашинах, поодиночке и строем, с венками и букетами — движутся скорбные, притихшие, чтобы почтить память летчицы.

Ярко светит солнце. Необозримы прозрачные дали. Кругом, куда ни бросишь взгляд, стройные ряды виноградников. И надо всем этим — огромный, молчаливый, настороженно застывший Курган славы с «тридцатьчетверкой» на вершине. Сколько таких курганов под нашим небом, на нашей земле, исполосованной шрамами войны!

У подножия Кургана славы — мраморная доска. «Нынешнее и грядущие поколения никогда не забудут вас, отдавших жизнь во имя спасения Советской Родины и всего человечества от фашизма». Могилы Героев Советского Союза Г. Корнеева и И. Шикунова, членов экипажа «тридцатьчетверки» К. Митрофанова и А. Максимова, погибших здесь в мае сорок четвертого, в один

день с Марией, в самом преддверье мощного летнего наступления.

Отныне рядом с ними будет покоиться бесстрашная дочь Волги Мария Кулькина.

В последнем письме к сестре она восторгалась ярко-зеленой землей и огромным небом Молдавии, мечтала после войны обязательно приехать сюда. Теперь она породнилась с этой землей и с этим небом навечно.

Выступают люди, произносят идущие из глубины сердец слова немеркнущей памяти и признательности. И перед мысленным взором каждого еще и еще раз возникает то раннее майское небо, расчерченное смертными трассами, и безудержно-стремительный ястребок, взмывающий ввысь, пикирующий и снова устремляющийся на врага, словно стремящийся прикрыть собою землю, которая простирается внизу, и солдат, которые идут по ней вперед и вперед, на запад.

Под скорбные звуки оркестра медленно опускается в землю гроб с останками летчицы. Гремит ружейный салют.

На мраморной плите надпись — «*Кулькина Мария Ивановна, летчик-истребитель, младший лейтенант. 1919–1944*».

В Дубоссарах опубликовано решение исполкома районного Совета депутатов трудящихся.

20 мая 1944 года, говорится в нем, в неравном воздушном бою с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении сел Дороцкое, Кошница, Погребы и Перерытое геройски погибла в долине Тамашлык, вблизи лесного урочища Попова, летчица Мария Ивановна Кулькина. В целях увековечения памяти славной дочери советского народа исполком райсовета депутатов трудящихся, идя навстречу пожеланиям трудящихся района и учитывая ходатайство Кошницкого сельсовета, решил переименовать долину Тамашлык, где погибла, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, отважная летчица, в долину Марии.

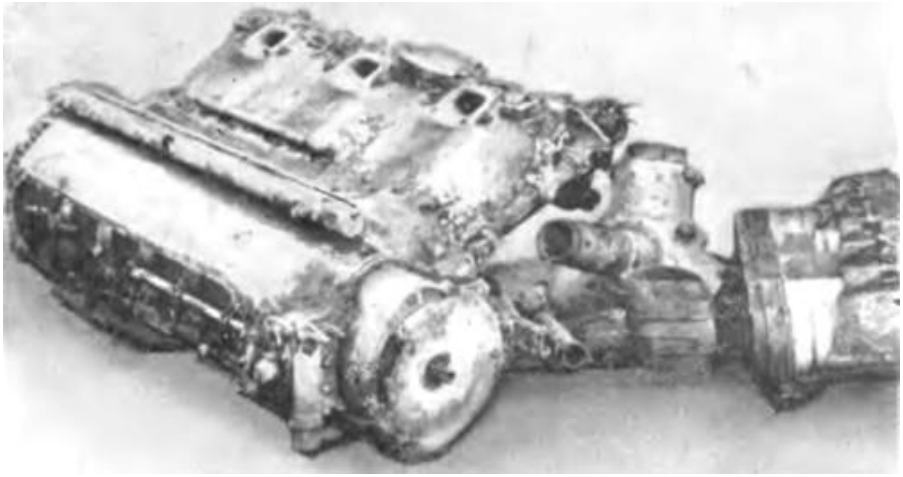
Долина Марии…

В этом новом названии — память народная о тех, что ушли из жизни совсем молодыми, не напевшись песен под тихими зорями, не наглядевшись на ласковую теплую землю. В нем — глубокая нежность к молодой женщине, мужественно разделившей общую со всеми судьбу.

Иллюстрации

Мария Кулькина в сентябре 1940 г.

Орден Красной Звезды, принадлежавший Марии.



Обломки самолета «Як-1», который пилотировала Мария: остатки двигателя.

Патроны к пулемету, найденные вместе с обломками самолета.

Эскадрилья, в которой весной сорок четвертого года служила Мария. В центре — Ю. Т. Антипов и Д. Д. Тормахов. Фото конца 1941 г.

Перед вылетом. Слева направо: Д. Тормахов, Ю. Антипов и Е. Погорелов (погиб через два с лишним месяца и похоронен в с. Шибка Григориопольского района), Фото мая-июня 1914 г.

Командир 267 истребительного авиационного полка И. И. Аритов. Фото первой половины 1944 г.

Анатолий Кулькин, младший брат Марии, в самом начале войны ушел добровольцем на фронт.

Спустя почти три десятилетия у Кургана славы близ с. Кошница состоялось перезахоронение останков отважной летчицы.

28 коп.